

ВРЕМЯ ИМБИ 27 1978

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ФЕДОР ЧИРСКОВ "АНДРОМЕР"
- ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ В ЧАС ВЫБОРА
- ПИСАТЕЛЬ ПОД ПРЕССОМ ДИКТАТУРЫ



Е. Мнцаканова
Искусство и предрассудки

Давид Дар
Часовня в огне

Михаил Демин
Блатной



- ОТВЕТ КРИТИКАМ АЛЬМАНАХА "АПОЛЛОН"
- УГОЛОВНАЯ РОССИЯ В МЕМУАРАХ МИХАИЛА ДЕМИНА
- НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

27
1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1978

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЭММА СОТНИКОВА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ЙОСЕФ ТЕКОА
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯАРИВ
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND
Западный Берлин	Логар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3T 2N2 t. (204) 474-9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-0597 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Федор ЧИРСКОВ

Андромер. 7

Соломон ШУЛЬМАН

Тупиковая ситуация. Башня смерти. 23

Давид ДАР

Последняя любовь. Часовня в огне. 53

ПОЭЗИЯ

Леонид ИОФФЕ

Третий город. 69

Роальд МАНДЕЛЬШТАМ

Зоревые каравеллы. 74

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Нафтали ПРАТ

Час выбора. 79

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, КРИТИКА

Дора ШТУРМАН

Минаевщина. 94

Елизавета МНАЦАКАНОВА

Искусство и предрассудки. 115

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Михаил ДЕМИН

Блатной. 127

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Письма Максимилиана Волошина. 181

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Московский авангард. 206

Коротко об авторах. 218

ПОЛЕМИКА ПОКОЛЕНИЙ

О ФЕДОРЕ ЧИРСКОВЕ

Несколько лет назад в Ленинграде умер драматург и кино-сценарист, Лауреат Сталинской премии Борис Федорович Чирсков. Это был умнейший человек с типичной для людей своего поколения биографией русского интеллигента. Еще юношей он был арестован за чрезмерную склонность к самостоятельным размышлениям. Несколько лет отсидел в сталинских лагерях. После освобождения, уже во время войны, написал патриотическую и героическую пьесу о командирах Красной армии, за которую получил Сталинскую премию. Затем все последующие годы он писал сценарии и добросовестно старался понять логику русской истории и истории человечества, чтобы объяснить и оправдать политику Сталина. Ход его рассуждений был, примерно, таков: эпоха гуманизма, то есть эпоха торжества личности прошла. Наступило время, когда на подмостки истории вышла не личность, а масса, и все, что делается в нашей стране, делается в интересах народа. Так что мыслящая личность, понимая, что она больше не является движущей силой истории, не должна придавать своим чувствам, мыслям и переживаниям такое значение, какое придавала в минувшую эпоху гуманизма.

Писатель умер. Вырос его сын. Тоже писатель — Федор Чирсков. Как и его отец, Федор Чирсков склонен к самостоятельным размышлениям.

Еще на первом курсе Ленинградского Университета он почувствовал явный разлад между своей личностью и обществом. Его собственные чувства, мысли и переживания вступали во все более драматичный конфликт с идеологией народной массы, пока не достигли той трагической точки, после которой уже невозможно было жить, как другие.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Творчество писателя — как бы мысленная полемика с отцом. Федор Чирсков утверждает право личности на свою собственную жизнь, независимую от интересов масс. Само собой разумеется, что такая позиция не по душе партийным чиновникам. Больше двух десятилетий работает Федор Чирсков в литературе. Он написал несколько сборников повестей и рассказов. Но ни одна строка из его произведений в Советском Союзе не опубликована. С годами произведения Федора Чирскова становятся все глубже, душевная жизнь его героев становится все более сложной, психологический анализ становится все тоньше. И все трагичнее звучит лейтмотив — творческая личность не может смириться с ролью незначительной частички безликой массы. В этой роли она обречена на гибель.

Предлагаемый рассказ написан автором больше пяти лет назад (из первой неопубликованной книги Федора Чирскова).

Д. Я.

ПРОЗА

Федор ЧИРСКОВ

АНДРОМЕР

Да, и такой, моя Россия...

А. Блок

Никогда Иванеев не изучал своей родины, не ставил себе таких целей, не шел тропами пытливых, отважных, находчивых и неустрашимых, а просто заглянул в залитое светом окно и испугался. Еще издали свет из-под потолка говорил ему о необходимости коврика на стене, кипящего чайника, женщины, пусть одетой совсем просто, по-домашнему, мужчины с газетой и ребенка с кубиком, а смотрел этот свет прямо, как чужая совесть, на страшную картину запустения и развала. Черные тряпки, грубые, засохшие и громоздкие, заполняли все углы комнаты, стены которой были когда-то оклеены розовыми или желтыми обоями. Чьи-то невозможные разбухшие ботинки заменяли в комнате человека, и бутылка с разлитой густой коричневой патокой все-таки не делала комнату осмысленной.

Иванеев сразу и охотно вернулся в сырую гладкую черноту ночи над бурьяном, выросшим из-под фундамента и ставшим синим в свете окна. Земля не колебалась под ногами, хотя и была не видна и при ходьбе оказалась твердой. Иванеев поднялся на высокую невидимую ступеньку и дотронулся

до двери. Она была сырой, неоструганной и скрипучей, но не открылась.

Иванеев стучал, пока не устал, но в доме не было отзвука. Потом он увидел легкое колебание занавески в окне рядом с крыльцом. Занавеска соскользнула с банки, закрытой куском газеты, и в углу окна показалось узенькое детское лицо. Ребенок посмотрел в темноту окна то ли с любопытством, то ли со страхом и замер неподвижно. Белая кошка спрыгнула откуда-то сверху и, мягким прыжком коснувшись земли, умчалась прочь. Иванеев хотел попросить мальчика открыть дверь, но понял, что взрослых нет дома, и постарался, не натываясь на дрова, выбраться на гладкую выпуклость дороги, освещенную из-под плоски уличного фонаря.

Так к нему вернулись готовность продолжать поиски и надежда найти круглую фанерку с номером дома. Он добрался до следующего дома, который стоял боком и был обит с видимой стороны бугристым толем, прижатым деревянными планками. Двери у этого дома были иными — свежесть неопределенной краски на их ручке, так же, как и заставленность тамбура бидонами из-под молока, детские штанишки и женская рубашка в мелких цветочках на бечевке свидетельствовали о многолетнем быте. И хотя не горела лампочка между четырьмя узкими одинаковыми дверьми, и сор, прикрытый веником, тотчас попался под ноги, и в коридоре пахло прокипяченным бельем и супом, Иванееву стало почти легко.

Он дерзко открыл ближнюю дверь и оказался среди семьи, в своем вечернем отдыхе не думавшей о том, как она выглядит со стороны.

Мужчина в голубой майке, пристроившись у трюмо, накрытого газетой, ел суп из миски. Старуха, заложив ногу за ногу, читала газету. Растрепанная женщина с мешками под глазами гладила простыню и обернулась первой. Трое детей, сомкнув свои круглые стриженные головы под нестерпимым сиянием стосвечевой лампы, на краю которой хорошо была видна растопыренная муха, вырезали картинки из букваря.

Все-таки все это было бы другим, если бы накрыть lampu

абажуром, но голубым, а не оранжевым, и не круглым, но и круглым было бы лучше.

Женщина подняла тяжелый утюг и стала держать его на весу. Она не привыкла к вечерним появлениям людей в городской одежде и, хотя понимала, что ни пугаться, ни радоваться нечему, все же ощутила беспокойное желание поскорей убрать неловкость с лица вошедшего человека.

— Вам, наверное, Михеева? Так нет его, Михеева. Вторая дверь напротив. Ушел он и дверь затворил.

Женщина подумала о том, куда ушел Михеев, и эта мысль вызвала у нее кривую и одновременно нежную улыбку. Так женщины улыбаются, когда в дело замешана любовь. Потом в голову к ней пришла новая мысль, и она предложила бессловесному гостю подождать и приготовилась даже дотронуться рукой до одной из светлых стриженных голов, чтобы освободить стул для вошедшего.

Но Иванееву не нужен был Михеев. Более того, ему самому трудно было определить, кто ему нужен, и он сказал, что ищет дом номер пятнадцать.

— Пятнадцатый? Вроде это наш, а может, и не наш, кто его знает. У нас, знаете, больше по имени да по фамилии дома известны, а номеров давно уже нет. Да, может, и не было их.

Мужчина в майке пристроил миску с ложкой, выпадавшей из нее, на угол накрытого газетой трюмо и встал, словно бы собираясь в дальнюю дорогу. В голове у него созрел план, и он давал плану созреть, не говоря ни слова.

— Не Михеев ему нужен, вот что я тебе скажу. Ему нужен редактор стенгазеты, вот кто ему на самом деле нужен. А его найти не просто приедем. Выходите вы и поворачивайте к свиноферме. Знаете свиноферму?

Но в это мгновение надежда оставила Иванеева снова. Пообещав найти свиноферму, он вернулся под невидимое небо, во влажную черноту, и на этот раз она показалась ему более гостеприимной. Было довольно тепло в воздухе. Лишь смутно веря в существование места для него в четырех стенах и под потолком, он раскуривал сигарету, готовя себя к ночевке под каменным навесом автобусной остановки. Еще

сойдя с автобуса, он решил оставить эту скамью для себя в резерве, и тогда, помнится, она показалась ему довольно широкой.

На перекрестке было особенно пусто из-за трех ярких фонарей, и под одним из них посеребренная глиняная колозница в платке каменной рукой раздвигала глиняные колосья. Наверное, днем она покажется ему уютней и единой с невидимой пока окрестностью. Фигура отбрасывала тяжелую и неуклюжую тень в дебри цветника, время цветения которого уже кончилось.

Иванеев предполагал улесться на деревянных планках скамьи, но в самом темном углу каменного навеса теплился огонек, и слышалось женское посмеивание. Он опустил сумку, словно она была слишком тяжелой, на скамью в приличном удалении от угла и безмолвно опустился рядом. Мужчина курил свой огонек, а женщина обнимала его из-за спины, были видны ее руки, которыми она словно бы пыталась побороть мужчину. Он что-то тихо сказал ей, и огонек его разгорелся ярче. Потом они стали молчаливы и неподвижны.

Иванеев не знал, как долго ему придется сидеть в этой напряженной позе и воображал, как соседи его недоумевают, что нужно здесь ему в ночное время. Автобусов уже не будет до утра. Иванеев начал забываться, с головокружением ударился подбородком о жесткий воротник и с тоской подумал, как далеко во все стороны нет здесь для него дома.

С громкими мужскими разговорами вошли в тень крыши трое и с удивлением убедились, что они здесь не одни. Иванеев различил полную девушку между мужчин, уловил в темноте ее просторную и вызывающую улыбку.

Они стали устраиваться все вместе на скамье совсем рядом с ним, и девушка с напором оттолкнула от груди руку, оказавшую ей сопротивление, и сдавленно и облегченно засмеялась. Потом начались торопливые поцелуи сразу с двух сторон, сначала стремительные, потом деловитые, потом остывающие.

Девушка вырвалась, встала, аккуратно обеими руками убрала назад волосы и с вызовом на лице уселась отдельно.

Все трое сидели в задумчивости, мужчины, опустив головы к замусоренному полу, девушка — прямо, как на спектакле в оперном театре, в третьем ряду, забыв дома бинокль. Теперь все трое ждали, кто выступит первым.

— Коля, иди-ка сюда, — совсем тихо, томительно и нежно сказала девушка, и Иванеев вздрогнул, потому что он тоже был Коля.

И Коля, который был выше, лениво и хозяйски уселся рядом, потом сразу обнял девушку и заставил ее откинуться назад, так что голова ударилась о каменную стену. Еще не освободившись, в неудобной позе, она опять облегченно рассмеялась.

Их третий попутчик опять присоединился к ним с левой стороны, и руки мужчин сошлись на одной и той же пуговице на груди девушки.

Иванеев унес рюкзак наружу, под охлаждающий свет фонарей, — пройду и вернусь через часок, может, разойдутся, а тут я лишний.

Деревня сопутствовала Иванееву своими темными отяжелевшими домами, тонкими заборами, пустыми дворами по обе стороны дороги; потом подуло ветром полевого пространства и шелестом близкого кустарника. Где-то поблизости действительно была свиноферма, о ее близости оповещал ожесточенный многоголосый визг, отдаленно напоминая застольный шум очень пьяной и очень бесцеремонной компании.

Иванеев шагал по просыхающей дороге в глушь, в пустоту, пока далеко за полями не установилось бледное возрастающее мерцание. Он решил вернуться и возвращался совсем разбитым, не веря, что этому безлюдью и бездомью суждено когда-нибудь кончиться. Луна показала свой четкий светящийся край над высокой купой деревьев, тесно сплотившихся на горизонте. Это был парк, далекий, густой и заброшенный, как все одичавшие парки бывших имений.

Теперь он хорошо различал все дома вдоль дороги и в глубине дворов, каменную стену автобусного навеса впереди, украшенную языческим и модернистским орнаментом.

Двое мужчин раскуривали свои сигаретки у стены, Иванеев подумал, не его ли соседи по скамье.

— Автобусов больше не ожидается. Или вы кого ищете?

— Я знаю. Я приехал на последнем, — сказал Иванеев.

— Значит, приезжий. К кому это так поздно?

— Разыскиваю знакомую. Должна жить в вашей деревне.

С ребенком.

— Петрова, наверное. И чего не идете?

— Да я ее, знаете, не нашел здесь.

— А как фамилия, может, подскажем?

Иванеев сказал:

— Фамилию не скажу. Была моя, а теперь сомневаюсь. Не видел ее три года.

— Одинокая?

Он развел руками.

— Да, предполагаю, что да.

— Так это Петрова. У нее девочка, Вань, или мальчик?

— Может, мальчик, а может, и девочка. Вы у нее были?

— Я не знаю, кто это? Где ее дом?

— Вот он. Четвертый С краю. С фонарем у забора. Не были там?

Иванеев присмотрелся к мужчинам.

— Она светлая или темноволосая?

— Вань, какая она, Петрова?

— Кто ее знает, Петрову...

Темный дом. Темное крыльцо. Спящая женщина за стеною. Одинокая женщина с ребенком. Не напугаю ли ее?

Сзади весело кричали:

— А вы стучите, не бойтесь. Не ваша знакомая, так хоть переночевать пустит. Она гостеприимная, Петрова.

Иванеев надавил на дверь, и она легко открылась.

Ступив в неглубокую пропасть темной прихожей, он тотчас же наткнулся еще на одну дверь. Она заскрипела, казалось, раньше, чем он к ней прикоснулся. Темная душная комната с фонарем под окном, уверенное дыхание спящей. Нет. Это не она. Это другая. Извиниться надо.

— Можно к вам?

Уверенное дыхание.

— Есть тут хозяева?

Спутанные волосы, вздыбленные сверху каким-то вихрем, стали приподниматься над подушкой. Женщина пробормотала: "Кто тут?" так хрипло и резко, что напугала себя этим еще больше.

— Кто тут? Что вы? А?

Иванеев протянул руку вперед.

— Прошу меня извинить. Мне сказали, что здесь живет моя жена. Я ошибся. Извините.

Она подозрительно спросила:

— А вы кто будете?

Приподнимаясь, она по-домашнему убрала свой волосной протуберанец в узелок на затылке, придиричиво проверила, закрыты ли плечи, слегка потянулась.

— Я буду приезжий.

— Издалека?

— Из города. Ну спите, еще раз извините меня.

Женщина наклонилась к окну. Дождя вроде нет. Потом враждебно посмотрела на Иванеева: жены ему...

Иванеев присмотрелся к ней.

— Поищу себе скамейку.

Они посмотрели друг на друга, на этот раз она — с некоторым одобрением.

— И ночевать негде? Эх, жены, жены... Вы вроде спокойный...

Конечно, ему не хотелось возвращаться под навес.

— Разве что в углу где-нибудь...

— А я-то и дверь не заперла. Напугалась. Да и вы тоже хороши. Постучались бы хоть прежде.

Не забываясь вернуть себе сколько-нибудь привлекательный облик, она светски засмеялась и села, спустив худые голые лодыжки.

— Мне бы в прихожей, если есть у вас раскладушка.

Знающим взглядом она посмотрела на него: ишь, скромник, а он подумал: как ты непривлекательна, все-таки.

Иванеев улегся на скрипучем полотне раскладной кровати,

с теплой еще подушкой под головой, с досчатой брусчаткой перед глазами, со смутным ощущением возвращения домой.

Очень отчетливо он слышал, как она вернулась в комнату, погасила свет и прилепала к постели, села на нее, вздохнула. Потом оба долго тихо слушали. Она улеглась. Иванеев проворботал про себя и постарался заснуть.

Среди ночи он увидел долгополую белую ее рубашку, проплывающую к входным дверям, потянулся рукой, не достал и заснул.

* * *

На другое утро он все-таки отыскал дом № 15. Может быть, это был единственный дом в деревне, на котором висела фанерка с номером.

Иванеев ступил в комнату со свежоштукатуренными стенами, увидел мебель, беспорядочно сдвинутую в середину, пеструю грудку хлама на кровати у стены и краснолицего человека, деликатно пристроившегося на краю кровати, сдвинув тряпье к стене. Его ботинки, запачканные в известке, покоились на стуле, руки, опухшие от работы, были белыми от краски...

— Здесь должна жить женщина с ребенком. Я получил от нее письма. Там был адрес, на конвертах номер этого дома.

Человек неуверенно приподнял голову, и Иванеев увидел, что у него голубые глаза. Ошеломленность взгляда, которым он смотрел на Иванеева, выдавала опьянение.

— Что ты?

Рискуя упасть, человек сел на постели и приложил палец к губам:

— Подожди, сейчас выйдем.

Он выбрался на крыльцо, непрерывно подтягивая брюки без ремня, не зная еще, как отнестись к гостю: небрежно или гостеприимно. Он выслушал Иванеева еще раз, и следя за выражением его лица, невозможно было заподозрить его в отсутствии внимания. С головокружением в голове после минувшей ночи Иванеев уже хотел уходить, ничего не добив-

шись, когда человек, ни слова не произнеся, поманил его внутрь дома. Иванеев понял, что в нем проснулся разум.

— Я тут не хозяин, я тут вроде тебя, посторонний. Вот видишь, стены побелели. Ну с хозяйкой и отпраздновали. Спиридоновна! Проснись, родная.

Криво улыбаясь, он стал теревить громоздкую кучу тряпья, бывшую, если разобраться, одеялом. Потом замер над ним, глубоко задумавшись, и Иванеев решил, что о нем окончательно забыли. Подумав, человек стал устраиваться на своем пружинном краешке, и в этот момент грудка зашевелилась. Одеяло колыхалось, как море в непогоду, потом неожиданно разверзлось там, где Иванеев ожидал бы увидеть ноги спящей. Голова, бурая и опухшая, выплыла из-под одеяла. Невозможно было понять, женщина это или старуха, и разговор стоил ей таких усилий, что Иванеев всей душой пожелал, чтобы разговор был возможно короче.

— В Андромер идите, нету здесь ее. Давно перебралась она туда, в Андромер.

— Далеко ли это?

— Пять километров.

Женщина махнула рукой к окну, прямо в стену, в сторону дороги и рухнула под одеяло.

* * *

Кто выстелил этот проселочный шлях, одновременно магистрально широкий и непроезжий? Ширина его и прямизна позволили бы открыть здесь четырехстороннее движение, а бугры, ямы, ухабы и лужи, неизбежно вызываемые проездом колесного транспорта по мягкой почве, навсегда закрыли его даже для обыкновенного автомобиля.

Кому понадобилась эта ширина в проселке? Не было ли ее причиной бескрайнее воображение?

Но если подумать, то причиной было не воображение, а боязнь. Были две колеи, размыло их, разъездило, и осторожный шофер взял вправо, на бугристую, но твердую неезженную почву, через траву и кусты. Так легли рядом еще две

колеи. А на обратном пути тот же берегущий машину шофер опять взял вправо, и вот уже не проселок, а авеню № 501, шоссе Вашингтон-Нью-Йорк, а ведет оно в Андромер.

Вот уже час Иванеев идет по шляху, уже солнце выглядывает не снизу вверх, как во дворе дома, а из-за высокой сероватой дымной тучки справа, а Андромера нет и нет.

Какие-то недорослые березки выбиваются из молодого леса, кривятся, подбочениваются, клонятся. Смуглые елки столбиками смотрят в небо, рассеивают вокруг себя молодую поросль. Бурьян замечательной силы и красоты располагается в ямах и углублениях, трясет тонкими своими колючками. Картина в чем-то незавершенная и не праздничная, а главное, заметно тронутая человеком. И как наваждение, не удаляясь и не приближаясь, стоит где-то возле, не далеко, но и не близко, не под самыми небесами, но высоко поднимаясь над скромной линией горизонта, клубящийся зеленый парк.

Какие-то речушки бесшумно, тайком, текут себе, непонятно в какую сторону, в воде их стоят стебли водорослей, отцветшие лилии и пугливые стайки рыбьей мелочи.

Потеснилась природа, поужалась в сторонку, только березы возле дороги не успела убрать и бросила на произвол судьбы.

Иногда Иванееву казалось, что дорога совершает незаметный, но неуклонный поворот влево, огибая густую кучность парка, но сохраняя почтительную дистанцию.

Птичья стая с сухим шумом крыльев спланировала на ближний куст, склонила его к земле, сделала серым.

Не повернуть ли назад?

Навстречу, все ближе и ближе, с ухаба на ухаб, волочет телегу, держа в зубах кислую железку, лошадка бурой масти; в телеге сено, как водится, рогожа или брезент, сумка с батонами, мужчина-колхозник с сигаркой под носом, с кнутовищем подмышкой.

— До Андромера далеко еще идти, не скажете?

— Да вот он, Андромер, — и мужчина кивнул сигаркой на холмистую купу, — это он и есть.

— А где же дорога-то к нему?

— Садись, подвезу, а то долго рассказывать.

И с этой минуты началось у Иванеева головокружение. Свернула лошадка на мягкий сырой спуск, побежала вперед, легко придерживая за собой телегу, свернула в лесок, из леска выехала на луг, вдоль речки поехала по овалу, застряла в густой грязи на переезде, миновала картофельное поле, закружила Иванееву голову так, что он почувствовал полный упадок сил, закрыл глаза, боясь свалиться с телеги. Потом открыл и увидел водяную даль озера, капустное поле у самых ног, близкий парк и старинные заплатанные постройки красного кирпича.

— Есть у вас в озере рыба?

— Теперь уже и нету. А раньше много было. Теперь переродилась вся.

— Кто же ее потравил?

— Никто не травил, а осушение делали. Председатель наш, как земли осваивать стали, решил осушить то озеро и пшеницей его засеять. И верно, почва на дне богатая да и места много.

— А у вас мало места?

— Да нет, пока что хватало.

— Ну и что же?

— Что-то не так сделали, кто ее знает. Там, где с головой двоим было, теперь и одному по горло не станет. И то на самой середине. А работы, правду сказать, хорошо вели, с бульдозерами, из города выписывали. Канал вырыли, лет пять, наверное, осушали. Но что-то не осушили, не знаю. А вправду сказать, на что оно озеро-то? Какая в нем польза? Одного комарья...

— А рыба?

— Рыба, верно, была раньше. Сам по двадцать лещей привозил. Это вы правы.

— Лучше бы ваш председатель капусту бы прополос как следует.

Действительно, зеленые кочаны чуть виднелись из-под жизнеутверждающих дебрей лебеды и травы. Иванееву даже явилась на минуту мысль, что здесь выращивают именно

лебеду и пырей для нужд химической промышленности, так лихо, по-свойски, разметнулся по полю лес сорняка.

— И то верно. Ну да ничего. Сняли его. Другого теперь назначили. Хорошего человека.

Мужчина помолчал и мстительно посмотрел на небо.

— Все технику выдумывают, будь она неладна, а от ней весь вред.

Вслед за этими словами телега свернула на боковую колею, Иванеев спрыгнул на глиняный холмик, сказал: "спасибо" и пошел в сырое темное нутро парка, которое теперь было открыто ему навстречу.

* * *

Ниже живой листвы старых деревьев уже успел вырасти новый парк, вернее не парк, а лес, бурелом, хаос, чащоба. Земля в углублениях дороги была особенно жирна и черна, от нее шел густой и таинственный запах.

Сначала Иванеев увидел поляну, вернее, правильные квадраты запущенной травы и зелени, выстроенные заскорузлыми и широкими серо-черными стволами старых вязов. Между трепещущей и раскачивающейся листвой было видно небо, отдаленно предвещавшее начало дождя. Налетело невидимое дуновение ветра, поднялись в воздух сухие скорченные листья, запахло сырой пылью. Среди геометрически расставленных вязов стояли отсыревшие некрашенные избы с дровами у стен, с развалинами заборов, с курами, деловито исследовавшими кучи грязи. Людей не было, и конечно, существование этих домишек было совершенно призрачно по сравнению с мятежным, порывистым и колеблемым существованием деревьев.

Иванеев увидел довольно новый зеленый аккуратный дом, стоявший без забора, белье на веревке, резиновые сапоги на крыльце и испуганно пошел по мягкой доброй грязи в темную глубину узкой, уходящей в неведомые высоты аллеи. Аллея была боковой, сразу за ней начиналась непроходимая и беспорядочная чаща молодого орешника, колючей прово-

локи, малины, старых гнилых стволов, бурелома, клочков неба с краями тучи. Иванеев зачем-то продрался через эту упругую преграду, перешагнул через проволоку, отвел ветви, целившие в висок и в глаз, и оказался на топком берегу озера. Вернее сказать, берега здесь не было, как не было, впрочем, и озера.

Утопавшие во мху кусты ивняка оканчивались зарослями осоки, терзаемой ветром, между рожицами камышей бледно светилась вода, потом начиналась потемневшая рябь озера, и так все дальше, дальше, пока не попадалась на глаза неровная кольцевая линия противоположного берега, казавшегося сплошной однообразной равниной.

В отдалении, на плоской лодке, хлопотливо взмахивал руками неслышимый рыбак.

Кое-как Иванеев вернулся на аллею и тотчас же постарался свернуть с нее, увидев смутный намек на тропинку между зарослями крапивы и дикого малинника. Но он сразу же наткнулся на мшистый обрыв ярко-зеленого заплесневелого пруда, в бурой жиже которого покоился черный остов упавшего дерева.

Но дальше, за прудом, была еще одна неезженная, нехоженная, всем светом забытая, заколдованная крест-накрест аллея.

Никогда Иванееву не случалось бывать в Андромере, детство его проходило почти все время в городе, между асфальтом и паркетом. Ничего не знал он, не мог знать о тех, кто когда-то считал эти деревья своими. Впервые в жизни попал он в этот настоящий, но совершенно заброшенный парк, одичавший у земли и хранящий дорогие воспоминания у колеблемых вершин.

Так почему же тогда он отчетливо, как никогда отчетливо, вспомнил эту аллею?

...Солнце насквозь проглядывало через тонкие черные сети, раскинутые перекрещенными ветвями, как на должное, смотрело на горку снега на поваленном дереве. Снег так невесомо опустил свои перышки, что каждое было нетронутым целым, и легкий ветер гнал белую пыль по гладкой поверхности.

Узколицый человек в долгополой шубе шел из глубины аллеи, по очереди ставя ноги в глубокие следы, оставленные здесь кем-то до него, и сосредоточенно смотрел вниз, под ноги. Оглянулся через плечо. Один шаг, второй, третий...

Внезапно Иванеев почувствовал на себе пристальное, согревающее внимание парка. Он стоял рядом с широким деревом, ногой на круглом корне. Он посмотрел по сторонам и убедился, что здесь никого нет.

Приблизил лицо к покрытой извилистыми углублениями и наростами морщинисто-твердой коре дерева и тихонько поцеловал ее. Потом еще раз оглянулся по сторонам и, удивленный своим поступком, ушел прочь, отправился разыскивать людей.

Опять он вышел к кучам сырых дров, к плетням, к самому окошку с растрескивающимися стеклами и красным бумажным узором.

Он обошел дом со стороны края, миновал конуру, скамейку с пустыми глиняными горшками, ступил на колоду крыльца.

Ему навстречу вышла старуха, нисколько не удивилась его приходу, а просто пригласила его в дом, в низкие некрашенные двери.

В избе, за клеенчатым потемневшим столом, сидел старик, положив руки на колени. Он тоже нисколько не удивился, поздоровался, посмотрел на нищенское убранство комнаты и с достоинством пригласил Иванеева сесть.

Иванеев попросил молока, если есть, и хлеба, потому что был голоден.

Старуха посмотрела на него с таким пониманием, словно уже месяц Иванеев стучался в этот дом, и достала накрытое марлей ведро.

Потом она вынула большой край хлеба, посмотрела на него и протянула Иванееву. Он выпил молоко, съел хлеб и попросил еще, собираясь оставить на столе всю бывшую в кармане мелочь.

Старуха достала розовый батон, опять на него посмотрела, примерилась и отрезала кусок, чуть меньший, чем хотелось

Иванееву, но все же довольно большой. Когда он захотел расплатиться, то встретил твердый отказ.

— За хлеб-то деньги? Да мы полдеревни молоком поим и денег не берем, да и не нужны они нам. Все равно магазин за пять километров.

Иванеев вспомнил взгляды старухи на хлеб, сумку с батонами на телеге, едущей в Андромер...

— Давно ли тут живете?

— Четыре года всего. Вся жизнь за тринадцать верст отсюда прожили, а на старости сюда приехали. Есть и старые жители, конечно. Рассказывают, тут помещик конный завод держал и школу ветеринарную. Видели кирпичные конюшни? От того времени остались. И рассказывают, как пасха или еще какой праздник, так обязательно выставлял всей округе пирогов и водки.

Старик сказал это серьезно, вдумчиво и посмотрел в окно.

Иванеев больше ни о чем не спросил их, а распрощался, оказался во дворе, пошел навстречу зеленому дому, о котором думал все время.

Из открытой двери дома вышла босая женщина, — он не вполне узнал ее, — в расстегнутом платье, гладковолосая, с локоном, откинутым за ухо, с голыми руками, молодая. Она зачем-то пошла прочь от дома, и тогда вслед за ней вышел мужчина в синем тренировочном костюме с белой полоской у шеи. Он, тоже ни слова не говоря, не глядя по сторонам, пошел за женщиной следом. Она чувствовала, что он идет сзади, и медленно, друг за другом, они скрылись среди деревьев.

Видели ли они Иванеева? Наверное, да, потому что не надо было оборачиваться, чтобы его увидеть. Узнала ли она его? Возможно. Почти наверняка можно утверждать, что да.

Он повернулся и пошел в обратную сторону. Он долго блуждал по парку, ища выхода, боясь наткнуться на людей.

Потом, в забытьи, он вышел на распутье, где слез с телеги и, немного успокоившись, побрел обратно.

Временами ему казалось, что он думает совсем о постороннем, приятном для себя, что он отвлекся. Не глядя по сторо-

нам, он миновал еще одну развилку и взял влево, хотя обе дороги были ему одинаково не знакомы. Десять минут он шел по наезженной дороге...

Потом и эта дорога раздвоилась, из нее выбежали две вьющиеся тропинки и побежали в противоположные стороны.

Когда Иванеев миновал заросли, из-под его ног тяжело взмыла ворона. Как мучительно он ни старался вспомнить, проезжал ли он здесь, ему этого не удалось сделать.

Увидев тропу, не то звериную, не то людскую, он стал углубляться в чащу. Колючая ветка тотчас попала ему в туфлю, березовый лист оказался за шиворотом, но земля здесь, к счастью, была сухой. Он заспешил, увидев смутный просвет впереди, но вместо того, чтобы выйти на дорогу, выбрался на просторную, круглую и замкнутую поляну.

Прямо перед ним, у самых ног, лежала лягушка. Она была раздавлена, непонятно кем, и лежала совершенно плоской, как ковер.

Краснобурые кишочки, выдавленные у нее изо рта, образовали венчик, или, если приглядеться, то корону потемневшего черного золота.

Тропы дальше не было. Поляна постепенно спускалась к травянистому берегу реки, и в одном из ее извивов дно не было заросшим. Иванеев, оглянувшись на лягушку, подошел к берегу и остановился. Медленно, медленно он стал раздеваться, снял через голову рубашку, расшнуровал туфли.

Искоса глядя себе на грудь и живот, испытывая смущение от их открытости, белизны и жалкости, он поставил ногу на дно, которое оказалось твердым. Неуклюже раздвинув воду, он поплыл. Никто не коснулся рукой его ног, только один раз он задел мягкую, гладящую водоросль.

Почти тотчас он повернул и с трудом выбрался на берег. Сдвинув колени, он сидел на траве, смотрел на капли на своей ноге, на топкий берег напротив.

Вернуться назад, в Андромер? Но где тот мужик и та телега, которые туда везут?

Соломон ШУЛЬМАН

ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ

Садилось солнце. Кончался летний день...

Олег Николаевич Балашов стоял один в приемной и ждал.

Большая муха билась в окне, пытаясь вырваться наружу. Она трагически жужжала, суетливо бодая стекло круглой головкой. Олег Николаевич неподвижно наблюдал за ней. Форточка была открыта, но чтобы попасть в нее, мухе следовало сделать нехитрый маневр и переползти через оконную раму.

"Не поймет, — думал Олег Николаевич. — Она привыкла лететь к цели по прямой. Для нее это тупиковая ситуация." Он отвернулся от окна и взглянул в зеркало. Перед ним стоял мужчина лет пятидесяти, высокий, подтянутый, с ровным спокойным взглядом и смуглым лицом. Олег Николаевич начал смотреть себе в глаза, а потом не мигая уперся взглядом в зрачки. Они были черными. В зрачках отражалось его же лицо, глаза и опять зрачки...

"Это я!" — сказал про себя Олег Николаевич. "Это я!" — опять мысленно повторил он. Постепенно сознание отделило его от человека в зеркале. Человек в зеркале стал самостоятельным, и теперь их было двое. Они не могли разговаривать, но оценивать друг друга взглядами они могли и делали это, не позволяя один другому отводить глаза.

В молодости Олег Николаевич любил заниматься самогипнозом, простаивая в таком положении часами. После сеанса мысли обычно бывали четкими и динамичными. Особенно часто они с Сергеем занимались этим в перерывах между опытами в лаборатории — им казалось, что гипноз помогает работе.

Сергей считал, что Олегу гипноз удастся лучше, потому что у него глаза черные, а с голубыми эффект слабее. У Сергея глаза были голубые, и весь он был какой-то прозрачно-голубой. Вдвоем они составляли красивый контраст.

Для профессора, который вел их работу, они слились воедино не только темой диссертации, но и как личности. Тема их общей диссертации была из области высоковольтных передач. Сначала работа мыслилась как кандидатская, но профессор уверял, что она тянет на докторскую, тем более, как шутил он, — "вместе вам уже за полвека — поздний возраст для кандидатской."

Времена были тяжелые, в университете шли чистки, косой взгляд или неосторожное слово, неуместная улыбка могли стоить карьеры, если не жизни.

По возможности друзья старались не соприкасаться с окружающим миром и все рабочее и нерабочее время проводили за опытами в лаборатории. Даже между собой они говорили на темы научные или, в крайнем случае, отвлеченные, стараясь не касаться политики и смутных времен.

Но живой человек есть живой человек, и однажды, идя задумавшись по коридору университета, Балашов не заметил, как его нагнал парторг — маленький, с круглой головой человек, он семенил рядом и без предисловия начал разговор:

— Олег Николаевич, защита приближается, не пора ли вам с Сергеем Петровичем в партию вступать?!

Олег был далеко в своих мыслях и, расслышав лишь последние слова — "в партию вступать", невпопад спросил:

— В какую?

В следующий миг по сердцу пробежал холод. Он понял смысл случайного, но недвусмысленного издевательства в своем вопросе. О каких партиях, кроме одной, может идти речь?!

Маленький человек, словно испугавшись, сделал шаг в сторону и наткнулся на стену. Все это продолжалось мгновение, но его хватило, чтобы на лбу у Олега выступила испарина.

— Простите, Феоктист Митрофанович, — торопливо произнес он, — я задумался об изыскательской партии, которая сейчас исследует трассу нашей высоковольтной линии, и нечетко расслышал ваш вопрос.

Маленький человек все еще стоял возле стены.

— Я говорю, что защита диссертации приближается, и пора вам с Сергеем в партию подавать, — глухо повторил он.

— Да, да, — поспешно подхватил Олег, — мы уже и сами об этом думали и хотели зайти к вам, посоветоваться.

— Вот и зайдите на этой неделе, — сказал парторг. Лицо его обрело спокойствие, и он, видимо, уверился, что ответ Олега искренний, а те неуместные слова выскочили по другому поводу.

Об этом происшествии Олег не рассказывал Сергею, но несколько дней не находил себе места. Как можно было так оступиться!

Олег осиротел ребенком в годы революции, и все, чего он достиг, было результатом его воли, аскетических лишений и труда.

Сергей был моложе на два года — отец его тоже погиб в хаосе революции, а мать умерла или затерялась потом. О своем прошлом они говорили редко, а если и говорили, то вскользь, никогда не углубляясь в это прошлое.

Предложение парторга они даже не обсуждали, а просто пошли подавать заявления, понимая, что без этого защита невозможна.

И вот, наконец, поставлена последняя точка и подшитая толстая папка послана рецензентам. Оставались еще два-три незначительных эксперимента, которые, впрочем, уже не могли повлиять на результат работы. В исходе защиты, назначенной через месяц, никто и не сомневался.

Впервые за долгое время приятели решили устроить себе отдых. Сначала хотели отправиться в ресторан, но Олег, как

более рассудительный, предложил соорудить выпивон дома — не будет посторонних ушей, можно тихо посидеть, послушать музыку, расслабиться... Договорились встретиться у Сергея, хозяйка, у которой он снимал комнату, уехала, и он был один.

Олег пришел с опозданием и заметно нервничал, но спрашивать о причинах его нервозности Сергей не стал — это было не в их правилах: в личную жизнь друг друга они не вмешивались.

Горел торшер. Маленький столик с коньяком и консервными закусками Сергей придвинул к дивану, включил музыку.

— Ого, — усмехнулся Олег, — ты даже хрустальные рюмки раздобыл.

— Стянул у хозяйки, — ответил Сергей. — Не люблю коньяк из стаканов.

...После третьей или четвертой рюмки Олег уже не был так мрачен. Цыганский голос с пластинки пел о костре в ночи, об искрах, которые гаснут на лету, и ребята заговорили о будущем.

— Ну, а после защиты что? — сказал Сергей.

— Не знаю, — помедлил Олег. — Шеф хочет, чтобы мы остались при кафедре... А что ты думаешь?

Они выпили. Сергей пьянел быстрее и бледнел.

— Не могу я больше здесь... — тихо сказал он. — Душно и страшно... каждую ночь... уехать бы подальше...

Олег отвел взгляд и покрутил в руках рюмку. Хрусталь отражал свет торшера и брызгал голубыми искорками.

— Я сегодня женился, — глядя в рюмку, вдруг сказал Олег. — Точнее, почти женился. — Сергей посмотрел на приятеля: не спяна ли он. — Это как надо понимать, — рассмеялся Сергей, — между лабораторией и приходом ко мне ты успел жениться?

— Совершенно верно. Сегодня подали заявление, регистрация через две недели.

— Вот так номер! — все еще неуверенно произнес Сергей. — Кто она? Я знаю?

— Ты однажды встретил меня с ней в автобусе. Черненькая. Клара. Работает в библиотеке.

Сергей расхохотался: — Вот так фокус! — и шумно полез в буфет откупоривать новую бутылку.

— Не торопись, — произнес Олег, — время есть.

Сергей обернулся.

— Что-то у тебя не совсем свадебное настроение, — произнес он и разлил по рюмкам. — Кстати, чего ты ее не привел?

— Имеются сложности, — уклончиво ответил Олег.

— Уже?

Олег ничего не ответил — он взял наполненную рюмку и поднес к глазу. Сквозь хрусталь и коньяк комната казалась золотистые аквариумом, а лампа-торшер — испускающим лучи самородком. Книжная полка изогнулась и превратилась в ряды амфитеатра.

Олег поставил рюмку.

— У нее отец сидит как "враг народа", — сказал он и взглянул на Сергея.

Рот у Сергея еще оставался в улыбке, но глаза потухли.

— Ты меня понял? — повторил Олег.

Сергей молчал.

— Понял, что это значит? Если в университете узнают, то о диссертации и речи быть не может. И вся наша работа коту под хвост. Я понимаю, что не имел права ставить тебя под удар, но ситуация так сложилась. Я ее люблю. Мы встречаемся уже два года. Никто об этом не знал, даже ты... А сегодня, сам не знаю почему, я предложил ей пойти и подать заявление. Она отказывалась, я настаивал. Тогда она рассказала мне об отце и сказала, чтобы я все хорошо взвесил. Раньше я об ее отце ничего не знал. Она это скрывала, чтобы удержаться на работе. Что же остается делать? Если бы я знал раньше... А так?! Сказать — подумаю, прикину на весах, что выгоднее!? Я сказал — идем, и мы пошли и подали заявление. В загсе работает моя двоюродная сестра. Для нее я выдумал историю с беременностью и просил устроить регистрацию в неприемный день, без свидетелей, чтобы случайно не столкнуться с кем-нибудь. Будем надеяться, что обойдется. Ведь в библиотеке

Клара уже три года, и никто ничего не знает... Считают, что ее отец умер.

Праздничного вечера не получилось, Сергей ушел в себя, молчал, слушал музыку. Олега тоже одолевали мысли. "Зачем я разболтал спяна?! — раздраженно думал он и сам же отвечал. — В конце концов я не имел права не сказать ему. Ведь это может отразиться и на его судьбе".

— Если даже предположить худшее, — сказал Олег вслух, — что все откроется, то тебя это не должно касаться. Ты об этом ничего не знал, что и является истинной правдой... ("если только и м можно доказать правду", — подумал он).

В понедельник Олег позвонил Сергею и сказал, что заболел, а когда во вторник он пришел в лабораторию, секретарша на кафедре передала, что его просили зайти в отдел кадров.

— А Сергею Петровичу вы сказали? — спросил Олег.

— Просили зайти только вас, — ответила секретарша.

Это несколько удивило Олега. Обычно по всем административным делам их с Сергеем вызывали вместе.

Кадрами, а заодно и Особым Отделом, командовал некто Жуков. Это был крупный мужчина с волосатыми руками, низким голосом и одним бесцветным глазом. Второй он потерял неизвестно где. На сотрудников он не смотрел, а клал глаз — в упор, не мигая.

Жуков протянул Олегу "личную анкету" на четырех страницах и сказал — "заполните".

В анкете, как всегда, было множество вопросов: о родителях, близких и далеких родственниках, живых и мертвых, судимостях, бывшей принадлежности к другим партиям, службе в "белой армии", дореволюционной деятельности, проживании или непроживании за границей и так далее. А в конце напоминалось об ответственности за ложные данные о себе. Главное было не сбиться и всякий раз писать одно и то же, ибо анкеты сверялись. Олег такие бумаги заполнял легко. В графе о родителях он ставил "не помню — сирота". Когда в первый раз он написал это предательское "не помню", в груди что-то дрогнуло, а потом привык и делал это уже механически.

Сегодня он неожиданно споткнулся на "семейном положении". Перо на секунду повисло в воздухе, и как в тот раз с родителями, в груди что-то кольнуло. Он задержался всего лишь на секунду и тотчас спохватился, ибо и секунды достаточно, чтобы опытный глаз Жукова мог заметить колебание. А какие могут быть колебания в личной анкете?! И Олег четко поставил "холост". Дальше он заполнял бегло — "не был", "не участвовал", "не подвергался", "не состоял"...

Взяв анкету, начальник отдела кадров кашлянул в кулак, вытер ладонь о колено и уперся в Олега пронзительным бесцветным глазом.

— Все точно? — хрипло спросил он с непонятной интонацией, явно нажимая на слово "все".

От неожиданности Олег чуть вздрогнул и кивнул.

— Тогда распишись, — с той же предостерегающей нотой произнес Жуков, переходя на "ты", и ткнул волосатым пальцем в лист.

Олег расписался.

Начальник одним глазом поехал по анкете и затормозил где-то внизу.

— Холост, значит?! — глухо произнес он.

Олег почувствовал, что стало жарко и кровь прилила к голове. Он проглотил слюну и сказал "да", но "да" получилось каким-то сомнительно протяжным.

Жуков опять положил на него свой бесцветный глаз.

— Пусть так, — теперь уже с явной, как показалось Олегу, угрозой произнес он и выдвинул ящик стола, куда скрылась Олега жизнь. Со стола он взял другую анкету, чистую, и протянул:

— Заполни-ка еще одну!

В животе закололо.

"Зачем вторую? — подумал Олег. — Проверяет, не собьюсь ли...?"

Голова стала тяжелой и пустой. Отяжелели веки, захотелось зевнуть. "Узнали про Клару!", — понял Олег. Невидимая рука сжала горло. Все сделалось безразличным, вспомнилось сиротство, детские дома, страх, что мальчишки узнают о его

отце — офицере белой армии, школа и опять страх, университет и тот же страх... Еще в школе он сочинил легенду, будто его родители умерли от тифа в годы революции, и сам поверил в нее, но страх не проходил... По его аскетическому лицу трудно было догадаться, что страх — постоянный спутник этого человека...

"Как глупо!" — это была единственная мысль, которая еще шевелилась в нем.

Наука заполнила всю жизнь Олега, он любил ее и мечтал оставить себя в ней. Ради нее он мог терпеть и до крови закусывать память... А теперь конец...

"Как глупо!" — опять подумал Олег.

Рука механически выводила параграфы анкеты и даже слово "холост" он написал не задумываясь, будто уже смирился с ним, как с "не помню — сирота"...

И вдруг простая мысль ударила в мозг — "Кто донес?" Ему показалось диким, что этот вопрос не стал перед ним сразу. "Мы так привыкли верить в их всезнайство..." — подумал Олег, но эта мысль тут же была вытеснена растущим черным вопросом "Кто донес?" Он даже сжал губы, чтобы не произнести его вслух.

Кончив писать, Олег встал, подошел к Жукову и положил перед ним анкету. Начальник отдела кадров опять проткнул оба его глаза своим одним бесцветным.

В коридоре Олег почувствовал, как нервный рвотный комок подкатил к горлу. Он сделал два быстрых шага, пересек коридор и зашел в туалет, затем открыл дверь кабины и защелкнул за собой задвижку. Голова кружилась. Он присел на корточки перед унитазом. Его вырвало голодной слюной. Внутри образовался вакуум, почти невесомость, а ноги обмякли. Он спустил воду, закрыл крышку унитаза и сел на нее, прислонившись лбом к холодному кафелю... "О загсе знало четыре человека, — устало подумал Олег, — я, Клара, сестра и Сергей. Сестра не знала об отце Клары..."

...На белой стене кто-то жирным карандашом нарисовал голую женщину и мужской член. Тихо журчала вода. В голову лез услышанный где-то анекдот. Один заключенный спраши-

вает у другого: "За Что сидишь?" "За лень, — отвечает другой. — Рассказывали с приятелем друг другу анекдоты, он сбежал утром и донес, а мне лень было"... Олег закрыл глаза. Так он сидел долго, слушая журчание воды. Потом встал, вышел из кабины, окунул лицо под холодный кран и посмотрел в зеркало. "Задача для младших классов с одним неизвестным, — грустно усмехнулся Олег. — А как все мудро!.. и удар от себя отвел перед самой защитой, и работу не надо делить на двоих..."

В загс Олег попал перед самым закрытием.

Вид у него был расстроженный, и сестра не стала спрашивать, что случилось. Олег объяснил, что беременность — ложь этой женщины и свадьба не состоится. Затем попросил вернуть заявление и поинтересовался, не зарегистрировала ли она его в каких-нибудь своих бумагах. Услышав, что нет, Олег повеселел и сказал на прощание:

— Прошу тебя, если вдруг кто-нибудь спросит... ты понимаешь!

Она успокаивающе засмеялась, сделав, как все дурнушки, вид, что ей и самой хорошо знакомы интимные человеческие отношения. И Олег ушел.

В лаборатории он не появлялся два дня. "Пусть проверяют, — решил Олег. — Человек хотел выслужиться и спихнуть соавтора по работе. Написал донос. Факты не подтвердились."

Кларе он тоже не звонил.

...Олег Николаевич отвел глаза от зеркала.

На стене висел улыбающийся Хрущев. Муха в окне перестала биться и теперь мирно ползала по стеклу. "Успокоилась", — подумал Олег Николаевич.

Открылась обитая кожей дверь кабинета, и в приемную вышла женщина.

— Товарищ секретарь просит вас, — сказала она и посторонилась. Олег Николаевич вошел.

Это был кабинет секретаря райкома партии — большой, тяжелый и неудобный. Другой Хрущев, но уже величественный, висел над столом.

Из дальнего конца поднялся человек и пошел навстречу. Пока он шел, Олег Николаевич рассматривал его. Они были примерно одних лет и даже чем-то похожи, но у секретаря была модная проседь на висках, а у Олега Николаевича нет. "Элегантность входит в партийную моду", — усмехнулся про себя Олег Николаевич.

Секретарь улыбался и протягивал руку. Олег Николаевич представился.

— Излишне, — сказал секретарь, продолжая улыбаться. — Я о вас все знаю. Сын уши прожужжал, вы его любимый профессор.

Он дружески взял гостя под локоть и повел к столу.

— Прошу, — указал он на кресло, а сам сел за стол. Олег Николаевич тоже сел. Секретарь улыбался, а Олег Николаевич смотрел на него. Наконец секретарь убрал улыбку.

— Чем могу быть полезен? — спросил он.

Олег Николаевич еще секунды две продолжал молчать, затем встал, опустил руку во внутренний карман пиджака, вынул оттуда заранее приготовленный партбилет и положил его на стол перед секретарем.

— Прошу исключить меня из партии и отдать под суд за убийство, — сказал он спокойно и очень ровно.

В первый миг лицо секретаря дернулось и застыло, как маска, а потом брови сами поползли вверх, вид стал растерянным.

— Как это надо понимать? — чужим, хрипловатым голосом спросил он после паузы.

Олег Николаевич посмотрел на его растерянное лицо и, сам не зная почему, улынулся.

— Буквально, — сказал он.

... Был вечер. Рабочий день давно окончился.

Они сидели вдвоем, не включая света.

— Жуков начал проверять меня и дал заполнить вторую анкету, — рассказывал Олег Николаевич. — Стало ясно, что он что-то знает.

— Обычный прием тех лет, — вяло сказал секретарь, — по-

дозрительный вид и запугивание многократной проверкой.

Олег Николаевич кивнул.

— Заявление из загса я изъял, — продолжал он, — и считал, что все обойдется, факты не подтвердятся.

С Сергеем мы встретились на третий день. Вернее, не встретились, я его видел, а он меня нет. Была пятница. Каждую пятницу мы проводили со студентами консультации. Я пришел на кафедру, но Сергея не было. Мне сказали, что он ушел по каким-то своим срочным делам. Я тоже ушел. День был слякотный, и я долго бесцельно бродил по городу в том состоянии, когда чего-то ждешь, не зная чего. И вдруг увидел Сергея. Это было на площади Дзержинского, возле Большого Дома. Почему я оказался там — до сих пор не пойму. Обычно это место я, как и все, старался обходить стороной.

Я видел, как Сергей пересек площадь и вошел в бюро пропусков. Можете представить мое состояние. Все очерчивалось вполне ясно: из загса, по-видимому, поступил отрицательный ответ, то есть — факты не подтвердились, и Жуков перестал "двигать дело". А может, даже был удовлетворен таким исходом. Ведь ему как начальнику отдела кадров могли пришить отсутствие бдительности за то, что он так долго не мог распознать во мне "врага". Не помню, что я еще тогда подумал. А может, Сергей с этим Домом сотрудничает?! Ведь все с кем-то сотрудничали. К тому же я хорошо знал упорство Сергея в достижении цели. Значит, он решил довести "дело" до конца без Жукова. Пришел донести вторично...

Трудно передать, что было со мной. Тихая ли истерика или что-то еще. Я стоял, как пьяный, держась за стену, отвернувшись к витрине, чтобы прохожие не увидели моего лица. Страх отступил, осталось лишь загнанное отчаяние, тяжелое, как могила. Хотелось покончить с собой. Думаю, что в тот момент я был недалеко от исполнения.

И вдруг, повернув голову, я увидел, что Сергей выходит. По-видимому, кто-то из сотрудников не принял его сегодня. Значит примет завтра или послезавтра, подумал я, времени оставалось мало.

Я никогда не был решительным и, кажется, злым человеком, а тут на меня нахлынула такая злость и решительность...

Вечером я позвонил Сергею, сказал, что должен на этой неделе уехать, и предложил провести оставшиеся эксперименты завтра, до начала рабочего дня. Лаборатория всегда была перегружена, и мы для своих экспериментов часто использовали утренние часы. Говорил он со мной вяло, я бы сказал — неохотно и даже попросил отложить опыт, но потом согласился.

В лабораторию я пришел первым, очень рано и все подготовил. Что такое экспериментальная высоковольтная лаборатория, вам, по-видимому, объяснять не надо. В те времена она была примитивнее и не с такой защитой, как сейчас.

Сергей пришел к шести. Мы поздоровались, но больше почти не разговаривали, он избегал смотреть мне в глаза, и это было особенно мерзко. Ну, а дальше, дело техники. Он попал под напряжение во много тысяч вольт...

Олег Николаевич смолк.

В кабинете было темно. Портрет Хрущева и лицо секретаря высвечивал уличный фонарь. Секретарь сидел, опустив плечи и упершись взглядом в дальнюю стену комнаты, будто на ней демонстрировали рассказываемый Олегом Николаевичем кинофильм.

— Потом были две экспертизы, — сказал Олег Николаевич. — Обе подтвердили, что несчастный случай произошел по халатности пострадавшего, — он помолчал, вероятно, пытаясь вспомнить детали того дня. — Сергея мы похоронили. Я плакал... над ним или над чем-то своим — трудно сказать.

— Диссертацию я защитил через год. А еще через год профессор оставил мне свою кафедру, — он опять помолчал. — Нашу общую с Сергеем работу я не стал предлагать в печать, да она бы тогда все равно не вышла. Издали ее лишь в прошлом году, под двумя фамилиями...

Стало совсем тихо. Секретарь продолжал смотреть в стену, а Олег Николаевич в окно. Он не нервничал, не горбился, сидел глубоко в кресле, спокойно и прямо. Оба они чего-то ждали.

— У вас есть дети? — наконец спросил секретарь. Вопрос прозвучал осторожно.

Олег Николаевич встал и прошелся по кабинету. Ковровая дорожка глушила шаги, не давая нарушать тишину. Под уличным фонарем кружились ночные бабочки... Ехал троллейбус. За ним бежали освещенные окна...

...Было утро.

За дверью шуршал почтальон.

Олег Николаевич пошел принимать почту.

Конверт был зеленый, обратный адрес местный, городской. Фамилия незнакомая.

Олег Николаевич вскрыл конверт, вынул листок, развернул и начал читать.

...Кровь ударила в лицо. Он прислонился к косяку двери и простоял так несколько минут. Затем прошел в кабинет, сел за стол и начал читать сначала. Буквы были большие, круглые.

"Дорогой Олег Николаевич!

Пишет Вам мать Сережи. Недавно я вышла из заключения. Мне рассказали, что много лет Вы были ближайшим другом сына и умер он у Вас на руках. Теперь Вы у меня один, как память о нем. Прошу Вас, не откажите повидаться со мной. Я сама бы пришла к Вам, но недуги и старость не дают... Целую Вас, как сына..."

Снизу стоял адрес.

Олег Николаевич долго сидел, глядя перед собой. Лишь постепенно к нему возвращалось равновесие. Захотелось представить Сергея, но отвлек телефон. Звонили из учебной части, потом из лаборатории. Он отвечал ровно, но более сухо, чем обычно. Затем встал, оделся, помедлил и взял с полки книгу в новеньком сером переплете. Положил письмо в карман и вышел.

День был весенний.

Он знал улицу, указанную на конверте, но пошел в другую сторону. Задумчиво обошел центр города и оказался на площади Дзержинского. Это его не удивило. Теперь уже

сознательно он, подошел к углу, где стоял когда-то, и стал на то же место. Отсюда видна была вся площадь и бюро пропусков. Ничего не изменилось!

Олег Николаевич прислонился к стене и стал наблюдать. Так он простоял минут пять. Из парадных дверей Большого Дома вышел человек в штатском, пересек площадь и затерялся в толпе. "Все верно!" — произнес Олег Николаевич и повернул обратно.

...Этаж был шестой, работал лифт, но Олег Николаевич поднимался по лестнице. Пахло полутьмой. У двери он остановился, изучая кнопки звонков. Их было много, а нужной фамилии не было. Тогда он нажал первую.

Вышла девочка.

— Мне Ольгу Тимофеевну, — сказал он.

Девочка повела его по длинному коридору, освещенному тусклой лампочкой, где вдоль стен стояли запыленные лари, а на гвозде висел велосипед. Олегу Николаевичу все показалось печальным и хорошо знакомым — и коридор, и лари, и запахи общей кухни.

Потом они свернули в узкий проход и подошли к занавешенной стеклянной двери.

— Ольга Тимофеевна, к вам пришли, — тоненьким голоском крикнула девочка и указала ему на дверь. Он открыл дверь и замер — на него смотрели голубые глаза Сергея.

...Сколько прошло времени, он не знал.

Она сидела в кресле, укутанная в платок, втянув голову в плечи, а на коленях лежала принесенная Олегом Николаевичем книга с непонятным для нее названием. На серой обложке значились две фамилии — его и Сергея. Время от времени она прикасалась к корешку грубым потрескавшимся пальцем и гладила их. А Олег Николаевич рассказывал.

Он старался вспомнить каждый день, каждую деталь, все хорошее, что знал о Сергее. Когда он рассказывал, она

не плакала, а улыбалась. Лицо у нее было по-стариковски белое, все в глубоких морщинах, и волосы седые белые, а глаза голубые... "Прозрачно-голубая, как Сергей", — подумал Олег Николаевич. Он рассказал ей все, что помнил, кроме того, чего не должна знать мать о сыне. Когда он говорил о последнем дне, она тоже не плакала, а лишь закрыла глаза, отчего морщины на лице превратились в шрамы.

Потом медленно рассказывала она. У нее была единственная фотография сына, прошедшая с ней все лагеря.

— У него только глаза мои, а так он вылитый отец, — говорила она и опять улыбалась чему-то далекому и приятному. — Отец тоже был мечтатель... — она помолчала, будто вспоминая мечты отца. — Жили мы в Полтавской губернии. Я работала медсестрой, а он — учителем в школе, когда Сереженька родился. А потом началась революция. Его казачи убили. Думали, что он красный, а он был никакой — просто мечтатель... — она замолкла и осторожно провела рукой по фотографии. Видимо, оба эти образа слились у нее воедино.

— Мы с Сережей переехали сюда в город, комнату сняли. Он тогда в школу уже ходил... А потом меня забрали...

В ее голосе не было жалостливых стариковских ноток. Наоборот, голос был тихий, но ровный, даже твердый, насколько позволяли силы.

— Голод тогда был, — продолжала она, — Я поехала по деревням, думала, поработаю — хлеба у крестьян раздобуду, а Сереженька тут в городе остался. Там меня и забрали. Присудили агитацию и контрреволюцию. Грозилась расстрелять. Про Сереженьку я ничего не сказала, боялась за него. Фамилии у нас разные. Он по отцу, а меня по девичьей взяли. Так и остался он один и я одна... — она почему-то улыбнулась и повторила, — ... он один и я одна... — видимо, до сих пор все это не казалось ей правдой. — Переписываться не давали, а потом, когда разрешили, уже много лет прошло,

да и он, наверное, думал, что меня уже в живых нету. Искать боялась, понимала, что наврежу ему... Ждала, может, выпустят... Со мной одна землячка сидела и вышла, а мне все новые сроки добавляли — то лагерь, то ссылка, потом опять лагерь, так и не увидела его... — она замолкла и закрыла глаза. Прячась в морщине, поползла первая слеза, за ней вторая...

...Троллейбус прошел, и в кабинете опять стало темно. Секретарь смотрел ему в спину, ожидая ответа.

— У меня нет детей, — сказал Олег Николаевич. — Я холост. С Кларой мы больше не виделись. Как я и предполагал — она все поняла. Остальное я знаю с чужих слов. Ее забрали через год за сокрытие биографии, как "члена семьи врага народа". Кто-то донес... Из лагеря она не вернулась...

Он не услышал, как сзади подошел секретарь. Теперь они стояли рядом — ровесники и чем-то похожие.

— Олег Николаевич, — сказал секретарь. Голос его звучал глухо и искренне. — Прошло двадцать лет. Мертвых не воскресить. Зачем вы пришли сюда?!

Олег Николаевич медленно повернулся и посмотрел в лицо собеседнику. Затем вынул из кармана листок и протянул.

— Это я разыскал два дня назад в архиве отдела кадров...

На старой бумаге значилось: "Прошу дополнить мою личную анкету. Моя мать — Ольга Тимофеевна Суровцева — жива и находится в заключении. Об этом мне стало известно недавно и мною уже подано заявление в соответствующие органы с просьбой о свидании с ней".

Внизу стояла подпись Сергея и хорошо знакомая Олегу Николаевичу дата, дата следующего дня после их последней веселой встречи.

— Вот почему проверял меня Жуков. В тот день, когда мы с Сергеем встретились на площади, ему отказали в свидании с матерью.

Фонарь погас. Мертвый город обходила луна...

О.Н.Балашова не судили. Многие так и не поняли — почему...

1976

БАШНЯ СМЕРТИ

**Профессору Максиму из Польши,
похороненному в песках Бухары.**

...Наступили холода 41-го года. Поезд шел на Восток. Зимние ночи уже не сменялись днями. Люди устали от слез, голода и страданий. Слов не было, лишь из глубины набитой до отказа теплушки, приглушенное стук колес, неслось тяжелое человеческое стенание. Время от времени то из одного, то из другого угла вагона раздавался вопль: "Доктор, помогите!", и мама, оставляя меня на узле с вещами, опять и опять пробиралась через груды полуживых людей туда, откуда раздавался крик. Умирали дети. Женщины с обезумевшими глазами еще долго прижимали холодеющие тела младенцев...

Проходили недели. В открытые двери теплушек ветер бросал уже не колющий снег, а раскаленный песок пустыни. До самого горизонта, как усталые верблюды, подогнув ноги, спали барханы. Зловещая тишина охватила состав. Люди лежали вповалку без движения. Лишь иногда чьи-то пересохшие губы шептали "пить". И опять тихо. Пустыня заглатывала нас. Шел поезд мертвых. Наконец паровоз уперся в тупик. Рельсы кончились. Это был конец света...

...Никогда еще Бухарское ханство не вбирало в себя столько человеческого страдания и гноя. Город копошился, как навозный жук. Грязная, оборванная, разноязычная полумиллионная толпа из Европы, агонизируя голодом, гонимая войной, шатаясь входила в Бухару. Город, вмещавший несколько десятков тысяч жителей, воспалился, как фурункул. Узенькие улочки напоминали террариумы, где одни живые существа двигались по спинам других, а по их спинам уже двигались третьи. И над всем этим, в опаленном солнцем пространстве, как решето, висели мухи. А в центре города, на пятидесятиметровой высоте, на вершине Башни Смерти, стоял в своем гнезде живой символ прошлого — белый аист на одной ноге.

Людская молва рассказывала, что однажды, когда слуги эмира сбросили с этой Башни очередную жертву, аисты, полные мудрости и сострадания, подхватили несчастного и опустили на землю. Видя в этом предначертание Аллаха, эмир пощадил обреченного. В те времена человек еще не мог погибать дважды. Теперь аисты больше не спешили на помощь. Обреченных стало слишком много...

...До города оставались еще десятки километров, когда на дрожащем раскаленном горизонте появлялась плывущая высоко в небе ажурная Башня. Она то возникала, то исчезала, вырастая все ближе и ближе. Веками истомленные физической и духовной жаждой караваны, много недель шедшие по горячим пескам пустыни, встречали это видение на расстоянии еще целого дневного перехода. Долгий день из мутного марева выплывал величественный "страж ислама". Башня заставляла дервишей и паломников грезить о святых местах, скрытых в древних мазарах, ученых и поэтов мечтать о встречах с прославленными философиями, купцов — о богатых бухарских базарах, а простолюдинов — о еде и прохладных навесах...

...А что гнало меня сегодня по тысячелетней караванной тропе в перламутровом лимузине XX века? Мечта о белом аисте на одной ноге? Но ведь я уже постиг ту премудрость, что возвращаться в прошлое опасно. От прикосновения

оно рассыпается, как древняя мумия, и из фундамента хорошо отлаженного; утрамбованного, полного оптимизма сознания вдруг вываливается один кирпичик, образуя пустоту, способную расшатать надежно выстроенный дворец нашего бытия. Так велика и опасна сила прошлого. И если не считается с ним человек или целый народ — они обречены...

...Шли месяцы. Нас поместили в многоярусном муравейнике, обнесенном тяжелой глинобитной стеной. Сверху, снизу, слева, справа — кругом копошились люди. Плоская крыша служила полом следующего яруса, а над ним возвышался еще один и еще. Выжженный солнцем двор был гол и пуст, зато из человеческих нор неслись разноязычные вопли, проклятия, ругань. Европа приспособлялась к Азии. По вечерам, когда спадала жара, оборванцы выползали наружу — не дальше своих дверей — и пугливо разглядывали друг друга, как обитатели одного вида и подкласса, помещенные в одну большую клетку и еще не обнюхавшиеся...

..."Вы кого-нибудь ищете?" Вопрос вернул сознание. Действительно, кого я ищу? Разве что вот этого босоногого пятилетнего мальчугана с печальными глазами!? Кто он? Не может быть... В таком случае, кто же этот элегантный дядя в дорогом костюме?! "Он иностранец, он ничего не понимает", — загалдели мальчишки. — "Спроси у него чего-нибудь... Понимаешь "дойч"?" К кому это относится? Ко мне? Разве они не узнают меня?! Я же их, я тоже из этого двора, только немного подросток. Сейчас я докажу им. Я вынимаю из кармана "лянгю" и начинаю играть. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь... Раньше я добивал до ста... Тридцать девять, сорок... Надо внимательно следить за "лянгой", этим кусочком кожи, с приклеенной к нему для тяжести свинцовой монеткой, и аккуратно подбивать ее ногой, чтобы не упала на землю. Сорок девять, пятьдесят... Вот видите! Какой же я иностранец?! Сейчас из той, верхней ячейки дома, выйдет мать и скажет "Хватит, пора бы и умыться!", но я не могу, я занят, игра в полном разгаре. А если я проиграю, то буду вытаскивать зу-

бами глубоко вбитую в землю спичку. Земля — это не грязь, ею клянутся, ее едят, чтобы доказать нерушимость мальчишеской дружбы. Я ел ее, и вот видите — я вернулся, я держу клятву."Идемте, — обращаюсь я к этим голодным мальчишкам. — Я куплю вам весь шоколад, все конфеты этого города..."

...Конфеты продавались возле Первого торгового купола. В городе их было три: Первый, Второй и Третий. Огромный каменный бокал без ножки, поставленный вверх дном, спасал от жары и солнца. С четырех сторон бокала, как входы в тоннель, зияли отверстия ворот. В них втекали и из них вытекали густые людские толпы, скрипучие арбы, кричащие верблюды. Если запрокинуть голову далеко назад, то на вершине черного свода Купола можно было увидеть круглое отверстие с синим небом — глаз Аллаха. Старик наблюдал за торгующими, чтобы все было честно и справедливо. А еще раньше, "во времена веры и порядка", на добром коне в белоснежной чалме степенно двигался по базару ишан-раис — блюститель мер длины и веса. За ним шли девять молодцов с палками. По базарному люду прокатывалась волна любопытства.

Вот ишан-раис поравнялся с важно сидящим купцом, поприветствовал коня и слегка наклонил голову. Тотчас к купцу подбежал молодец и сравнивал его аршин со строгим аршином раиса. Если купеческий оказывался короче, то лицо всадника наливалось гневом. Он тихо шептал угодную Аллаху нечетную цифру. Молодец вскидывал виновника себе на плечи, а другой стаскивал с него штаны. Удары наносились ровно и четко. Если мошенник кричал, то счет палок начинался сначала. Затем спесивый обманщик, волоча штаны, обливаясь слезами боли и стыда, целовал руку ишан-раиса, и кавалькада двигалась дальше. Народ ликовал. Справедливость была восстановлена. Но это было давно, "во времена веры и порядка". Прошли десятилетия, и Аллах зажмурил от ужаса свой глаз, а если и подглядывал, то что он мог видеть в синюю дырку Купола... Смешной старик!

Разноцветные петушки, красные звездочки, плоские слоники держались на деревянных палочках и стояли целое состояние. Они отливали холодным блеском жженого сахара и назывались леденцами. Их можно было взять в рот и сосать. Они таяли, и по телу расплывалось сладкое, вкусное, щекочущее. А когда во рту оставалась одна лишь палочка, хотелось зажмуриться и что-то вспомнить. Но вспоминать было не о чем, другого детства мы не знали.

...А они стояли, согнувшись над нищенскими лотками, закрыв от голода глаза, вспоминая далекий дом и монотонно повторяли: "Проше панэ! Проше панэ!" На эти крошечные коржики, радужные звездочки был истрачен последний кулек муки, последняя горсть сахара, выменянные на снятое с себя последнее платье, и если их не продать — страшно подумать, что станет с их детьми... "Проше панэ! Проше панэ!"

— Полячишки, вонючие полячишки! Чего они приперлись к нам?! — надрывались искалеченные войной нищие. — Самим жрать нечего! Да он, небось, еще и жидовская морда...

Зачем злая судьба гнала их от Гитлера к Сталину, от Варшавы через всю Россию на край света?! Чтобы умереть в далекой стране пустынь?! О чем кричат эти люди на непонятном языке? И он виновато улыбался: "Проше панэ! Проше панэ!"... Он остановился и вдруг внимательно посмотрел в печальные глаза пятилетнего грязнули, уставившегося на лоток. "Иудэ?" — спросил он. Я молчал. "Проше", — сказал он и протянул голубой петушок. Что-то ударило меня в грудь, опрокинуло и понесло. Это был подарок нищему от нищего, голодному от голодного. Слезы душили. Сломался голубой петушок. Но вы не плачьте, теперь я куплю вам самый лучший, самый вкусный шоколад, который не ели даже обитатели дворцов...

Прошли годы, и уже не в сказке, а наяву швыряла меня судьба от высоких президентских палат до задымленных марихуаной притонов Сингапура. И я клянусь этим мальчишкам, клянусь, как перед Страшным судом, что там, в вонючих бухарских подвалах нашего детства, несмотря на все, правды и сострадания было больше.

Вы помните сидящего в базарной пыли веселого безногого летчика-Героя с Золотой Звездой и "шапкой на пропитание", растягивающего под "Катюшу" свою гармонику?! Вы помните побелевшие лица лейтенантов-отпускников, выворачивающих карманы своих гимнастеров и рвущих из них сотенные, чтобы наполнить "шапку" Героя!? Вы помните, как, подхватив его под руки, они двинулись пропивать свое минутное счастье, и безногий плыл между ними, рыдающий, гордый и равный! И мы тоже шмыгали носами, растирая глаза "от пыли". Может, тогда впервые в наших незрелых мозгах начало проявляться, что диапазон человеческого сердца шире всех радиостанций и всех глушителей мира. Вы помните, вы все, конечно, помните...

...Мертвые лежали на мостовых, в толчее базарных площадей под куполами и минаретами. Они даже не умирали, а отходили, тихо, как призраки, склонив головы, не прося ничего, ни у людей, ни у Бога. По телам матерей еще ползали живые младенцы, но вскоре и они застывали рядом или растворялись, подобранные милосердной рукой. Трупы увозили на восходе солнца.

Скрипучие арбы с огромными колесами, запряженные скорбными ишачками, пробирались по паутинным улицам старого города, заставляя живых шархаться в закоулки, вдавливаясь в стены домов, чтобы пропустить мертвых. Время от времени скрип обрывался, ишачок покорно останавливался, опустив голову, а старый возница трогал за плечо очередную душу, припавшую к мачехе-земле. Спит али помер? Иногда покойник оживал, тяжело открывая помутневший глаз. Бывало, что он оживал глубоким вздохом уже на телеге в штабелях отмучившихся. Тогда возница кряхтя разбирал воз, снимал нарушителя покоя и вновь прислонял его к грешной земле. Так и плыли изо дня в день под торговыми Куполами еще пустующих базарных площадей, и первые лучи восходящего солнца играли на лицах мертвецов холодной синевой минаретов, как последняя горькая улыбка этому миру.

Время научило нас не бояться мертвых. Бояться надо живых. "Если трупы лежат на улицах, значит еще не все потеряно, но если исчезают живые — значит все..."

...— Здравствуйте! А мы разыскиваем вас по всему городу. Мы из райкома. Нам поручили встретить вас...

Боже, я так надеялся, что они не найдут меня. Почему у этих круглолицых всегда такой неприлично-звонкий, без оттенков, голос?! Он хлещет по почерневшим от времени стенам древнего Купола и, отражаясь пулей, рвется вверх, в синюю дырку неба, будто тычет пальцем прямо в глаз Аллаху. Разве им не известно, что над могилами нельзя кричать! "Рассматриваете наши развалины? Бросьте эту чепуху. Поехали, мы покажем вам новый жилой массив — застройка газовиков... Потрясающее зрелище!.." "Жилой массив", "масса", "толпа"... — все из одного, и того же дырявого кармана. "Спасибо, но я немного устал". "Шутите! Мы читали о ваших далеких экспедициях... Не верится, что вы можете устать!" Что вы, крикливые, знаете об усталости! "Представьте себе — устал. Дорога..." И миражи... Люди-мираж, города-миражи, идеи-миражи... От миражей больше всего устаешь. Они заманивают путника в глубь бархан, откуда ему уже нет выхода. "Вы впервые в нашем городе?" Вы слышите, мои мальчики, этот громкоговоритель? Впервые ли мы с вами в и х городе?! Хорошо, что они даже не подозревают о н а ш е м городе, все равно бы ничего не поняли. "В в а ш е м городе я впервые". "Видите, там, на Холме, стоит Арк-крепость — дворец эмира бухарского, а рядом, где развалины на пустыре, решено разбить Парк Культуры и Отдыха". "Парк Культуры и Отдыха?" "Да, а чему вы удивляетесь?" Действительно, чему я удивляюсь? Ведь они и на кладбище могут соорудить танцплощадку. "Нет, ничему, просто так... воспоминания..."

В страшном хороводе былей и небылиц танцевали призраки на выжженном солнцем голом Холме Могил. Черными глазницами древних ям, смеющимися в оскале черепами, пустынным блеском белых костей взирал холм в поблекшую бездну Неба. Как лысый череп, изъеденный временем,

возвышался он над городом. И жаркий ветер, закручиваясь смерчами, носил по нему пыль веков. Но не могилою Сиявуша — легендарного основателя Бухары — страшен был Холм сорок третьего года.

Когда над черными куполами минаретов зажигались южные звезды, шорохами ужасов, воплями насилюемых, стонами убиенных оживал Лысый Череп. Преступный мир пировал свою победу. Чьи-то жизни обрывались, а чьи-то зачинались там. А на утро умирающий с голоду базарный люд обходил даже самые дешевые пирожки с мясом. Из этого мяса, как шептала толпа, иногда высывались человеческие ногти. Но Холм безмолствовал. Он спал под лучами жгучего солнца в ожидании ужасов южной ночи. И лишь ветер гнал пыль веков над колыбелью арийского мира.

Мы, мальчишки, еще не слышали о Майданеке и Колыме и не знали, как крепка связь времен. Недаром над воротами эмирского дворца когда-то красовалась плеть — символ любой власти. А за тяжелыми засовами Арк-крепости, на виду у всех, отгороженные решетками тянулись камеры заключенных. Гласность в те далекие времена еще не вышла из моды. Пытали со вкусом, изощренно. Как рассказал старый российский солдат, заброшенный когда-то судьбой на эту чужую планету: чтобы человек повинился, клали в деревянное корыто пуд соли и наливали в оное воды горячей. Когда соль разойдется и вода простынет, тогда, связав "в утку" человека и повалив затылком в корыто, лили в рот несчастному воду соленую. От сего погибал бедняга, ибо соль живот передала. Ежели кого спасти желали, то после каждого мучения давали пить сало топленое, кое соль вбирает и очищает живот верхом и низом. А еще клали в котел муки пшеничной и, поджарив оную, мешали с водой и салом и сею саломатю кормили мученика, коего хотели в живых оставить, чтобы дальше мучить. Было это двести лет назад. Они еще не знали наук экономических, а то с чего бы переводить соль и муку пшеничную!? Проще: паяльной лампой или каленые иглы под ногти — повинится окаянный, что угодно подпишет.

Счастливец вешали, но не сразу, а подергивая за веревку и опуская, чтобы продлить удовольствие толпе, а может, и самому казнимому. Но чаще — просто кривым ножом в вонючей канаве. Палач ударял палкой по голеням осужденного так, что хруст ломаемых костей слышали все вокруг. Несчастный падал в черную вонь, а злодей садился ему на плечи и вдавливал голову поглубже в грязь. Другой блюститель доставал из ножен обоюдоострый кинжал и всаживал в горло жертве. А когда нож входил по рукоятку, поворачивал его с хрустом, потом вытаскивал и вытирал о халат мертвеца.

Вот так, на виду у всех, без церемоний и прощальных криков — "Да здравствует Вождь!" — просто резали, прихватив за нос, чтобы не испачкать руки. По крайней мере, никто не выдавал убийство за "волю народа". У него никогда не было воли. А обреченный помалкивал, ибо даже в последний час трепетал перед властью, каясь в мнимых грехах, веря в ошибки и светлое Будущее, предначертанное Пророком!

Этих "увеселительных аттракционов" мы, мальчишки, конечно, уже не застали — не повезло! Зато застали другое — куда там аттракционам!

...Солнце не попадало сюда, в колодец, отгороженное голубыми куполами Великого Медресе. И тем могильнее смотрелись кружевные русские занавески в черных оконных проемах небытия. О чем шептались и плакали наши матери, похороненные во тьме глинобитных мазанок, на паутиных улочках древнего города? Мы, их сыновья, не догадывались, ибо эпоха подсунула нам свои дела, свои проблемы, своих героев. Мой новый восьмилетний друг, по праву старшинства, вводил меня в эпос времени. Залихватская песня улиц рассказывала о храбром бандите-патриоте, зарезавшем сто евреев и трех русских. А в конце баллады справедливый прокурор выносил суровый приговор: "За жидов тебя прощаем, но за русских — никогда!" Песня была проста, как достоверность рая, как громоотвод. Базарному люду все становилось ясным, кто виноват...

А мы, зажимая в потных кулаках хлебные карточки (не украли бы... не отняли бы...), героически сражались за жизнь в диких, ночных очередях, когда висят южные звезды над прекрасными минаретами, а обессиленные суровым днем матери впадают в трехчасовое забытие сна. А днем, под безжалостным бухарским солнцем, шмыгая кровоточащими носами, уткнув головы в колени, валились мы на тротуары возле бесконечных рядов раскаленных, как сковородки, пустых ведер, в ожидании по талонам хоть капли воды из колодца. Не зря же ударил посохом по этому месту пророк Иов, чтобы заструился для людей серебряный источник. "Во времена веры и порядка" холодная вода наполняла пруды древнего города, в которых купались все — и лошади, и люди, и собаки, а крикливые водоноши разносили ее в мешках по земле...

Мальчишки держались стойко, а вот матери... матери умирали первыми. Они умирали голодными, на одной из красивейших площадей планеты, прислонившись на секунду к Великому Минарету, где каждый поворот уже мутнеющих глаз, как в цветном калейдоскопе, фантастически менял панораму мира вокруг, внушая душам смирение, глубину и покорность времени... а еще с тихим всплеском всплывали по утрам тела отчаявшихся из священного озера Ляби-хауз... и кто-то крал детей на заре!..

"О-о-о! Полячишки! Вшивые полячишки! О, жидовские морды! Все из-за них... Прав, прав был эмир, резавший глотки иноверцам..."

...Возле облепленного мухами кафе "Дружба народов" притормозил наш перламутровый лимузин XX века. "Обратите внимание, это самое бойкое место нашего города — Ляби-хауз, — заорал мне в ухо громкоголосый, — любимый пятачок молодежи! А вязам этим, которые окружают озеро, несколько веков". Их тоже надо вызвать на суд...

Почти сто лет назад под ними отдыхал отважный венгерский ученый Герман Вамбери, инкогнито пробравшийся в эту страну деспотизма. "В тени вязов, — рассказывает он, — чайные лавки и самовары, похожие на колоссальные пив-

ные бочки. Самовары эти делаются в России специально для Бухары. Владельцы их обязательно приглашают путника на чашку чая. С остальных трех сторон — хлеб, фрукты и разные варенья и другие кушанья, холодные и горячие, расставленные для продажи в тени циновок".

А век спустя, зимой 42-го, под вязами этими умирал голодной смертью другой ученый, не оставивший даже фамилии — просто Макс из Польши...

Он был одним из тех "нарушителей тишины", кого старый возница, разобрав груды мертвецов, снова вернул на грешную землю. Большеголовый скелетик, затерянный среди сотен других, тихо лежал, прислонясь к каменным ступеням шумного, как цыганский табор, священного озера Ляби-хауз, устремив мутнеющий взгляд навстречу лучам последнего восходящего солнца. Мир воспринимался им уже в тех тонах, когда краски небытия конкретнее и ярче, чем окружающие нас реальные события малореальной жизни. Где-то вдалеке рокотала планета, и тысячи молодых лиц внимали профессору, повествующему о красоте разума и бесконечных дорогах будущего. Было ли это в Варшаве или в Кракове, Праге или в Париже — он не помнил. Да и не все ли это равно?! Это было по ту сторону Вселенной, а его быстротечный корабль, оторвавшись от сонма людей, уже несся дальше малюсенькой точкой в глубины холодного космоса.

Что толкнуло нас с мамой остановиться возле этой ослепшей к горю толпе?! Мутнеющий взгляд или шелест отходящей души? Но шелест нельзя уловить в воплях молящих спасения, а мутнеющих взглядов было так много, как царапин на древней земле.

Он заговорил торопливо, шепотом, путая французскую и польскую речь, прося передать, рассказать, послать кому-то что-то куда-то в Европу, далекую от нас, как далеки звезды.

Каюсь, я так и не запомнил его фамилии. Для меня он навсегда остался загадочным старым мудрецом.

Мудрец выжил. Теперь он восседал на одноухом ишачке, а ослик изо дня в день бодро семенил по семимильной дорожке от Бухары к Мохасе, не подозревая, что в его полупустой игрушечной повозочке, в каких обычно катают малышей во всех зоопарках мира, теплилась жизнь для нескольких сотен прикованных к постелям искалеченных судьбой детей. Он вез хлеб. Хлеба было так мало, и ноша так легка, что ишачок улыбался, считая земное существование прелестно-праздным.

Мохаса — райская поляна, затерявшаяся среди горячих бухарских песков, некогда была летней резиденцией эмира. Сейчас за ее пятиметровой глинобитной стеной разверзался ад, а здесь было лишь преддверье ада. Тут еще гуляли тощие жар-птицы, распутив от скуки облезлые, но все же золотистые хвосты, квакали лягушки в прудах, и на пыльных деревьях шептались по ночам листья, потревоженные сонными цикадами. Война отодвигалась чуть дальше и звучала чуть глуше...

...Эмир умел отдыхать. В прошлом здесь шуршали шелками шатры, ниспадали голубые фонтаны, звучали фанфары. На золотых подносах торжественно выплывали лошадиные окороки и бараны головы, а на райских деревьях восседали перламутровые птицы, держа в открытых клювах кровавые рубины. Негой томились сто четыре наложницы в ожидании своего повелителя, а повелитель был один, ибо, как сказал восточный владыка, "свет слишком мал, чтобы иметь двух тиранов". Видимо, по этой причине и уменьшался он сейчас с такой катастрофической быстротой в пользу одного из них — арийского...

Теперь жар-птицы были грустными, их окружал уже не шелест шелков и благоухание масел, а стоны костно-туберкулезных детей и горький запах перемешанного с гноем йода. Завернутые в саваны трупики, у которых светились только глаза, с омертвевшими руками, ногами, позвоночниками блаженно улыбались в тени больших платанов, прикованные к своим железным гробикам-кроватям.

Теперь день Старого Мудреца начинался и кончался под большими платанами. Как только одноухий ослик возвращался со своей ношей, Мудрец торопливо слезал с повозки и спешил под платаны. Он устраивался у чьих-нибудь детских ног и, подняв глаза к уже темнеющему небу, на котором зажигались яркие южные звезды, говорил, коверкая слова: "О, вы даже не догадываетесь, как велик и прекрасен мир!" Он превращался в таинственного древнего звездочета и рассказывал нам о загадочных белых планетах, где живут и играют такие же, как и мы, золотистые грязнули. Дети смотрели на седую голову старика и, тяжело дыша, слушали, чуть приоткрыв рты. Мерцающие звезды казались смеющимися глазами далеких мальчишек, зовущих нас к себе. Это было первое соприкосновение детской души с Большим Миром, миром вне нас и независимым от нас...

Звездочет опускал веки, и ему казалось, что не десяток тускнеющих детских глаз, а тысячи юношеских лиц слушают своего профессора. Он говорил о великих университетах Европы и о знаменитых на весь мир бухарских медресе, где по пятнадцать лет подряд изо дня в день от восхода до заката познавали студенты в свободных диспутах науку истины, ибо вольный диспут был дозволен даже при восточных тиранах...

Счастливый Мудрец, он так и не узнал, что в кельях студентов знаменитого медресе лежали в 43-ем трупы художников, умерших голодной смертью, а за вольные диспуты еще до конца дней наших будут гнать его мальчишек по бесконечным холодным трактам.

Мы хоронили его одни, без взрослых. Выл самум, покрывая нас пылью. Горячий песок жег подошвы. Терялись в пустыне следы одноухого ослика, везшего в своей игрушечной тележке с огромными колесами наше сумасшедшее детство. Мы шли, не доставая макушками до этих огромных колес, и молчали.

...А попутчики по перламутровому лимузину смеялись, поднимаясь по ступеням Башни Смерти, где когда-то каждое утро слепой глашатай возвещал начало нового дня. Он был слеп, чтобы не подглядывал с высоты за жизнью дворов и

террас. Попутчики смеялись, не веря мне, обвиняя во лжи: не так уж и велика Башня Смерти, как я рассказывал, не так уж и красивы медресе, не так уж и глубок святой Ляби-хауз... Мои мальчишки, придите на помощь, разве они поймут, что тогда для нас "деревья были большими", а мир, несмотря на все,— прозрачным...

В раскаленной до горизонта пустыне, на тысячелетней караванной тропе я остановил перламутровый лимузин XX века и повернулся назад. Вы были рядом, мои мальчишки, и вы подтвердите. С Неба на города Великой Азии ниспадал божественный свет. А над Бухарой он столбом поднимался к Небу...

Его излучали могилы...

*Бухара-Белград
1975*

"КОСЫЕ ПАДЕЖИ" и "ПУТЬ ЗАРИ"
(вышедшие в 1977 году в Иерусалиме)

Сборники стихотворений

Леонида ИОФФЕ

Можно заказать из-за границы по адресу:
L. Yaffe, Haganast. 2/18
French Hill, Ierusalem,
ISRAEL

Стоимость сборника "Путь зари" — 2,5 доллара,
а обеих книг вместе — 4 доллара (при отправке морем).



Давид ДАР

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Однажды я заметил, что заболеваю неизлечимой болезнью. Эта болезнь называется старостью. Ее ужасные симптомы — накопление жизненного опыта, который откладывается в сознании, как известь на стенках артерий.

Старость подкрадывалась ко мне со всем присущим ей обольстительным коварством: с любимыми детьми и прелестными внуками, с привычными удобствами и уважением окружающих, с чрезвычайно разросшимся прошлым и сжавшимся в маленький комочек будущим.

Оно уютно свернулось передо мной, мое крохотное будущее, поблескивая лысиной, пенсией, вставными зубами, пузырьками с лекарствами и жизненным опытом. И уже не сладостное предчувствие неведомой и загадочной Истины изредка касалось меня своим прохладным крылом, как бывало в юности, а надежные азбучные истины окружали меня подобно подушкам, и мне хотелось умять их под себя, чтобы было еще удобнее и спокойнее: одну азбучную истину положить под локоть, другую — под спину, третью — под зад; и лежать на своих умятых истинах, жирея и хрюкая от своей старческой мудрости и поучая юношей, как им следует жить на свете.

И юноши пришли ко мне. Ты хорошо помнишь то время. Тебе было тогда семнадцать или восемнадцать лет. Жестокая и беспощадная похоть рвалась из твоего тела, дерзость и робость боролись в твоей душе, и ты был истерзан грандиозной бесцельностью мироздания, и своим величием, которого никто не замечает, и своим ничтожеством, на которое указывают пальцем все те, кто уже отрастил себе бороду и брюхо. Ты искал утешения в футболе и книгах, в кино и водке, в спорах и драках, и сладостное предчувствие Истины изредка касалось тебя своим прохладным крылом.

А я покоился на своих умятых азбучных истинах в домашних туфлях и с трубкой во рту, толстый, старый и благодушный. Устойчивые вещи непоколебимо стояли на своих местах. Устойчивые дома тяжело и надежно стояли за окном под неподвижным, как потолок, небом. Устойчивые понятия были разложены на полочках моего сознания, и я твердо знал, что хорошо, а что плохо, где право, а где лево, где верх, а где низ. Мне стоило только протянуть руку, и я брал с нужной полочки нужную реплику, и она благозвучно выплывала из моего рта и таяла в воздухе, как синеватое облачко табачного дыма.

— Пить водку плохо, — говорил я, — а учиться хорошо. Портить девушек плохо, — говорил я, — а любить их хорошо.

Так говорил я, негромко и благодушно, со снисходительной мудростью поглядывая на тебя, а ты...

...Ты стоял передо мной маленький, с большими красными руками и длинными энергичными пальцами, которые умеют с такой влекущей и покоряющей силой отбивать на столе сумасшедшие ритмы, и на твоей щеке еще не просохли капли дождя.

— Я вчера опять нагрубил матери, — говорил ты, — а позавчера напился с ребятами, а завтра у меня экзамен, но я еще не сел за книги.

...Ты стоял передо мной могучий и широкоплечий, рвущийся из своего тесного и короткого пиджака, и твои каменные кулаки боксера были похожи на два булыжника, зажатые в руках.

— Я плюю на ваш здравый смысл, — говорил ты, — и на то, что вы старше меня и всегда знаете, как надо поступить, потому что вы — это вы, а я — это я, и у вас все позади — поэтому вы такой умный и спокойный, а у меня все впереди, и поэтому я не знаю, что делать с собой.

...Ты стоял передо мной, высокий и узкоплечий, и дерзкий и насмешливо-вызывающий твой чуб мотался над пьяными и недобрыми твоими глазами.

— Я ненавижу вас, — говорил ты, — за то, что вы жалеете меня, и спешите накормить, когда я прихожу к вам голодный, и даете мне денег, когда у меня нет ни копейки. Я ненавижу вас за то, что вы такой толстый, такой сытый, такой добрый. Мне хочется разгромить к черту всю вашу комнату и набить вам морду, а я стою перед вами пьяный и жалкий, и сейчас сяду за стол, и буду пить ваш чай, и слушать ваши советы, и просить у вас денег.

Так ты говорил мне, а твои глаза смотрели на меня, будто спрашивая:

— Как жить мне, такому неопытному и беззащитному, на этой громадной безразличной ко мне земле, под этим громадным безразличным ко мне небом, среди этого громадного безразличного ко мне человечества? Надо мной в космической бездне по исполинским орбитам движутся звездные миры, подо мной громоздятся горы и клокочет раскаленная магма, вокруг меня кишат и пожирают друг друга миллиарды миллионов живых существ, во мне самом клокочет похоть и честолюбие, страх и зависть, нежность и злоба. И с рождения до смерти я обречен ходить по краю бездны, на дне которой смерть, мрак и ничто. Как жить мне на этой ослепительно освещенной арене, где гениальные ученые открывают законы природы, гениальные писатели пишут великие книги, гениальные вожди ведут за собой стада людей? Что делать мне среди всех, такому обидчивому и застенчивому, страдающему от того, что никто не догадывается о моем величии? Что делать мне, песчинке в пустыне, не желающей быть песчинкой? Что делать мне, капле в океане, не желающей быть каплей? Как жить мне, чтобы все женщины увидели, какое у меня нежное

сердце, и все мужчины узнали, какой у меня смелый ум?

Твои глаза взывали ко мне с такой доверчивостью, будто ты поднял обе руки кверху, будто прижался к моему плечу.

Так уже было со мной однажды, во время войны, на фронте. Молодой солдатик, совсем мальчик, в мятой изорванной шинели, потерявший каску, оказался возле меня в окопе, когда пронзительная ракета, взметнувшаяся в небо, послала нас в атаку.

Лицо мальчика было зелено-землистое, а глаза его были широко распахнуты, как два больших орущих рта. Он бросился к разбитому блиндажу, потом вернулся обратно, упал на колени и стал разгребать руками землю, будто хотел зарыться в нее, потом опять вскочил на ноги, обнял меня и спрятал свое лицо в мою шинель.

Я провел рукой по его волосам, и он, почувствовав ласку, прижался ко мне и больше не отпускал меня. И, когда мы бежали с ним в атаку, он держался за мою шинель, как ребенок держится за материнскую юбку. Мне хотелось защитить его руками, как птица защищает птенца крыльями, но я не сумел защитить его и когда падал на землю, оглушенный невиданной и неслышанной пулей, то успел заметить его осиротевшее лицо, и упрек, и жалобу, и обманутую его доверчивость.

Эта обманутая доверчивость до сих пор лежит камнем на моем сердце. Но доверчивость, должно быть, всегда бывает обманута. И если бы ты вычерпал меня до конца, то на дне моего колодца увидел бы горький осадок моей вины перед тобой, потому что и тебя тоже я не мог защитить, не мог прикрыть тебя ни своим жизненным опытом, ни своим жирным брюхом, ни возрастом, ни прочитанными книгами. Я чувствую себя таким же беспомощным, незащищенным и ничего не знающим, как и ты. И вся моя десятилетиями накопленная и тщательно сбереженная мудрость была взорвана в один миг твоей неутомимой доверчивостью.

И тогда я завопил, как Иеремия, голосом старческой безысходной скорби:

— Как защитить мне тебя, стоящего передо мной в мятой изорванной шинели, с зелено-землистым лицом и глазами,

похожими на два орущих рта? Как мне защитить тебя от тебя, и от себя, и от твоей неопытности, и от моего опыта? Как защитить мне тебя, песчинку в пустыне, не желающую быть песчинкой, каплю в океане, не желающую быть каплей? Как защитить мне тебя, чувствующего свое хрупкое величие, в которое никто, кроме нас с тобой, не верит?

Еще очень-очень давно, когда я был таким же юношей, как и ты, я встретил однажды девушку, которая, как я думал, одна — и только она одна — может вывести меня из тюрьмы моего одиночества. И я сказал ей, что люблю ее, но в тот же миг, когда я говорил это, что-то подсказало мне, что я не ее люблю, а себя, и эта девушка лишь избранница моей любви к самому себе. Через несколько лет мне посчастливилось встретить другую женщину, и я почувствовал, что только я — только я один — могу растворить темницу ее одиночества. И тогда открылось мне, что это и есть любовь к другому человеку, и эта любовь на многие годы озарила мою молодость.

Так и тогда, когда ты стоял передо мной во всей разрывающей душу незащищенности и доверчивости своей молодости, я почувствовал желание защитить тебя своей верой в тебя, и тревогой, и нежностью, и болью. Но я понимал, что защитить тебя не сумею, и моя вина перед тобой неутолима, как неутолима моя любовь к тебе.

ЧАСОВНЯ В ОГНЕ

Я не люблю своего прошлого. И чужого тоже. Я не люблю день вчерашний — он уже прожит, исчерпан. Вчерашний день — это вчерашние иллюзии, а я живу сегодняшними иллюзиями.

Каждый день я занят тем, что вылупливаюсь из яйца, как цыпленок. Рано утром я начинаю пробивать скорлупу вчерашних иллюзий и долблю ее до позднего вечера, как делал это вчера, год назад, десять лет назад, сорок лет назад. А когда наступает ночь, и я полностью освобождаюсь от вчерашних

иллюзий, то оказывается, что я уже окружен скорлупой новых иллюзий.

Я старый человек и живу на громадной куче битой скорлупы. Она мертва, эта скорлупа, и ее не могут оживить даже самые живописные воспоминания. А я люблю только живое. Но все живое текуче, неуловимо и сомнительно, будто я барахтаюсь под водой. И стоит мне только на секунду перестать барахтаться, как вода застывает вокруг меня, подобно стеарину, замыкая меня в мое подобие.

2.

Мой юный прелестный Бог! Вот и улетел ты в горы, чтобы, как и подобает Господу Богу, пребывать где-то там, в надоблачных высотах, среди скал, ущелий, туч и молний. Ты улетел (или отлетел?), и у меня не осталось нежной улыбки твоих губ, и тонкой, почти прозрачной фигурки, которая своей прозрачностью непонятно связана с твоей молчаливостью, так редко присущей простым смертным. Твоя загадочная прозрачность как-то связана и с твоей способностью проникать в стихи, в музыку, в живопись, в облако, сквозь их поверхность и внешность, в самую глубину, на самое дно, куда не может проникнуть ни зрение, ни слух, ни сознание.

А мне Бог не дал этой способности.

Всю жизнь толкусь я на шумной толкучке литературы и служу литературе, как верная собака — терплю от нее побои, мерзну на ее пороге и выпрашиваю ее милости, но всегда чувствую свою неуклюжесть и неповоротливость: тупым молотком разума я все бью и бью по ореху, и когда добираться, наконец, до ядра, то не понимаю, что в этом ядре было для меня столь приманчивым.

А приманчивым, оказывается, был только ты, мой юный Бог, Бог-подросток, прелестный своей незащищенной одухотворенностью. Но ты выпархивал из ореха сквозь первую же щелку, и там оставалось лишь что-то, подобное мертвому телу, покинутому душой.

Метафора эта все разворачивалась и разворачивалась в моем воображении, но пришел поэт "А", и метафора тотчас

свернулась обратно, как улитка залезает в свою раковину. И я прикрыл раковину чистым листом бумаги, чтобы чужое дыхание не заглушило ее чуть слышного шороха океанских глубин.

Поэт "А", как всегда, был одет во что-то невероятно яркое, обтягивающее, франтоватое и вызывающе-заграничное. Он держался развязно, но в умных глазах этой маленькой уже немолодой и морщинистой обезьянки была такая безысходная тоска, что я почувствовал, как обычно чувствовал в его присутствии, что виноват перед ним за свою пристойную одежду, пристойный возраст, пристойную комнату, за весь свой омерзительно-пристойный образ жизни, который как бы оттенял и даже подчеркивал непристойность его обнаженно-беспомощного существования.

Но не успел я еще проявить свою несколько преувеличенную, хотя и подлинную почтительность к гостю, как раздался телефонный звонок, и я услышал твой голос.

Он был таким неожиданным, что взорвал весь мой жизненный опыт, все "может быть" и "не может быть", и я доверчиво слушал тебя, убежденный, что ты говоришь откуда-то из заоблачных высот. Но мое удивление вызвало не то, что ты звонишь мне оттуда, откуда звонить по телефону нельзя, а то, что в твоей негромкой речи я услышал два знакомых слова: "аэродром" и "самолет". И тогда я сообразил, что ты еще не улетел, что вылет самолета задерживается, а ты звонишь из аэропорта.

Как только я положил трубку, так сразу же решил немедленно поехать в аэропорт, чтобы еще хоть одно мгновение поглядеть на тебя.

Торопливо выпроводив ничего не понявшего поэта "А", я вышел на балкон. Сквозь мелкий и частый дождь светили фонари. По шоссе проносились в аэропорт длинные полупустые автобусы.

Я представил себе просторный зал ожидания и твою маленькую фигурку среди обыденных твоих попутчиков. Ты, наверное, сейчас дремлешь, прикрывшись старой ватной

фуфайкой и прислонив голову к громадному, туго набитому рюкзаку.

И, стоя на балконе в тускло озаренном тумане дождя, я внезапно понял, как смутился бы ты, если бы я появился сейчас в аэропорту; как испугался бы, чтобы не заметили меня и не догадались о моем отношении к тебе твои мужественные попутчики.

Я отчетливо увидел себя, воровато крадущегося мимо твоих товарищей, старого толстяка с седыми поп-волосами, эдакого карикатурного сатира, тайком подглядывающего за спящей нимфой.

Если бы ты был девушкой, то моя фигура показалась бы просто смешной и жалкой. Но ты — юноша, и от этого мое влечение к тебе становится непристойным и предосудительным. Это — произвольная и совершенно бесцельная игра чувств, столь же извращенная, причудливая, непонятная и необъяснимая, как противоестественное желание говорить стихами или извлекать из музыкальных инструментов звуки, которых не существует в природе.

Мое преклонение перед тобой, его бессмысленность и бесцельность наполняют меня радостью, которая, наверное, сопутствует всякому художественному акту. Но так же, как и всякий художественный акт, оно окрашено некоторым драматизмом. По всей вероятности, многие бескорыстные художники чувствуют несоответствие жизни и своей эфемерной игры словами, красками или звуками, ее неприменимость и бесполезность в мире практически полезной деятельности.

Я вернулся с балкона в комнату, в мою каюту, к моему надежному (безнадежному?) столу, к лампе, к дивану, но осколком еще недавней пристойности, разбитой твоим телефонным звонком, валялись повсюду. Я пытался собрать их в кучу: включил магнитофон, сел за пишущую машинку. Однако магнитофон разносил только тревожный и четкий ритм (твоего сердца?), а машинка издавала редкие удары (твоего пальца?) — так неуверенно ты выстукивал на ней свои и чужие стихи. А мне все мерещился и мерещился эльфичес-

кий образ моего Бога, сошедшего на землю, чтобы озарить мою старость.

3.

Лет в четырнадцать или пятнадцать я потерял веру в сурового Бога Саваофа. Это была тяжелая потеря. Будто я осиротел. Будто меня выгнали из дома под хмурое дождливое небо, и я остался во мраке неоглядного поля, одинокий и беззащитный.

Потом мне удалось найти новое Божество. Им был Разум. Он взял меня за руку и повел за собой уверенно и властно. Он вел меня за собой четким строевым шагом и привел, как не трудно догадаться, на фронт. И там, еще до первого боя, до первой атаки, он сбросил с себя свою фальшивую солидную бороду и оказался избалованным, капризным, глупым и злым мальчишкой.

Само собой разумеется, что он не мог больше быть моим Богом, и я пихнул его коленкой под зад, полагая, что найду себе Божество, более милое моему сердцу.

И нашел. Им был Христос. Христос был очень обольстительным Божеством, исполненным обаяния, бескорыстия и жертвенности. Особая прелесть его заключалась для меня в том, что он был одновременно и смертной плотью и бессмертным Словом. Слово, идея стали плотью и потеряли свою отвлеченность.

Но царствовал Христос в моем сердце тоже недолго. Лишь столько времени, сколько потребовалось, чтобы прочитать все четыре Евангелия и послания Апостолов. А когда я стал читать историю Христовой церкви, то престол моего нового Божества зашатался, потому что под знаменем Христа проливалось еще больше крови, чем под знаменами Бога Саваофа и Бога Разума.

И я снова остался без Бога. Один. В пустом поле. Под вечными звездами.

Опять годы паломничества. Налево. Направо. Вверх. Вниз. От себя. К себе. Трудные годы... Но все-таки мне удалось

воздвигнуть в своем сердце новое Божество. Им был я сам, не желающий ни над кем властвовать, никого учить, ничего перекраивать, покорно несущий бремя своих страстей и обязанностей.

Это был самый приемлемый Бог в галерее недолговечных моих Богов. Но и он торжествовал в моем сердце только до тех пор, пока был мужествен и уверен в себе, как и полагается быть всякому пристойному Богу. Но когда пришла старость, и морщины избороздили мое божественное лицо, и отвисшее брюхо восторжествовало над моей немощной плотью, то я уже не мог опереться о плечо своего одряхлевшего Бога, а сам должен был подставлять ему плечо.

И мое сердце возжаждало нового Бога.

И он явился ко мне, новый Бог, хрупкий и нежный телом, как девочка, но с мятежной, ищущей подвигов душой юности и с плотским вожделием зрелого мужа — с вожделием, скопившимся в его юношески мужественном теле, но не пущенным в цель. От этого весь облик моего юного Бога был пластичен, грациозен, тревожен и устремлен, как тонкий лук с туго натянутой тетивой.

Отличается мой нынешний Бог от всех прежних — своей юностью. А юность это нечто текучее. Она протекает через каждого человека, ни в ком не задерживаясь. Она быстротечна в масштабах одной жизни и неиссякаема в масштабах человечества. Она течет через годы, века, тысячелетия.

Юность неопытна, беззащитна, доверчива. От этого она иногда держится с наигранным апломбом. Но в действительности у юности нет апломба ни Бога Саваофа, ни Бога Разума, ни Иисуса Христа, ни моего собственного. Юность не выдает себя за Истину.

И я поклоняюсь моему Богу, его Божественной неистинности. Я поклоняюсь его изменчивости, устремленности в будущее, его недолговечности и вечности. Его духовности, еще не успевшей заматереть в тяжких, как камни, идеях. Его вожделию, еще не успевшему оплодотворить женщину. Его стану, еще не успевшему приобрести мужественности.

4.

Когда ты первый раз пришел ко мне, то почти ничего не говорил, только смотрел и слушал. Я сидел за своим столом, старый, толстый и снисходительный, читал тебе стихи любимых поэтов и чему-то поучал, покуривая свою верную трубку. И весь мой стариковский скептицизм, наверное, подтачивал в тебе еще неокрепшее знание всех тех норм, всех тех "хорошо" и "плохо", всего общепринятого и устойчивого, что внушали тебе дома, в школе, в университете. А ты сидел наискосок от меня, тонкий, с длинными волосами, с нечетким профилем, как бы небрежно, но вдохновенно начерченным гениальной рукой; сидел, весь сжавшись в кулачок, и смотрел, и слушал. И твой взгляд, в котором были сосредоточенность и зрение, и слух, и тишина, и вся твоя внутренняя напряженность, как бы затягивал, засасывал меня, и я с упоением летел в какую-то бездну.

Но эта бездна была не внизу, а наверху. Она распаивалась надо мной, как небо. Она засасывала меня, как небо, когда лежишь в летний день на спине и перед глазами нет ничего, кроме синего пространства, кроме вневременной ее протяженности и внепространственной ее глубины.

Я падал, падал и падал в тебя, в высоту, в будущее, в сверхличное, в вечное, чувствуя при этом отчаянный страх и радость... Все падал и падал вверх, возносясь к каким-то неведомым высотам.

На улице уже не шли трамваи. Раскрытая дверь вела на балкон, который, как лодка в спокойном озере, плавал в белой ночи. Высокие стоявшие на изрядном расстоянии друг от друга дома были окрашены в синеватые тона. Белая ночь звенела от напряжения и какой-то зеркальной тишины.

Потом ты читал мне свои стихи. И твой голос звучал, как эта ночь, так же тихо, напряженно и зеркально, и стихи плыли передо мной, как лодка между зеркальностью воды и неба. Редко расставленные странные слова были похожи на свои отражения или на капли воды, падающие в воду. И эти слова,

и эти капли, и ты сам, и балкон, плывущий в белой ночи, и мое непрекращающееся головокружительное, отчаянно радостное падение вверх — все это мне вспоминается, как отражение чего-то, чего, может быть, и не было, и не могло быть вовсе.

5.

Я не знаю, как проявляется старость у других людей. У прославленных деятелей теории и практики она, по всей вероятности, проявляется в наивном самообольщении своей значительностью. Их открытия и изобретения, их социальные системы, их сочетания слов и понятий кажутся им самыми истинными. Их кипучая деятельность во имя этих открытий, изобретений, систем и сочетаний кажется им движением человечества вперед (вверх? вниз? в сторону?), а свои вставные зубы, седину и лысину они носят, как заслуженную награду, перед которой все, кто моложе, должны почтительно снимать шапку.

У большинства людей, ничем не прославленных, старость проявляется, как освобождение от гнета своего будущего — ответственности за него и заботы о нем. Гипертрофированное прошлое, по самому своему существу, пассивно. Оно не требует ни решений, ни поисков, не вызывает колебаний. С прошлым приятно цацкаться. Так цацкаются со своим прошлым многие тысячи стариков — со своим военным прошлым, со своим любовным прошлым, со своим революционным (контрреволюционным) прошлым, со своим наивным прошлым.

В отличие от других стариков — прославленных и непрославленных — я на склоне лет впал в детство, или, иначе говоря, в глупость, (а может быть, это и есть свобода?). Я перестал понимать то, что понятно всем: что такое духовность? За что нужно уважать историю? Какая польза от культуры? Почему дважды два равно четырем, а не пяти или пятнадцать?

Если бы меня вызвали сейчас к доске, я не мог бы ответить ни на один вопрос и решить ни одной задачи. Поэтому мне хочется грубить учителям, смываться с уроков или хулиганить

в классе. Причем в отличие от моих десятилетних или двенадцатилетних единомышленников, мне это ничем не грозит: меня не оставят на второй год, моих родителей не вызовут в школу, и никто не скажет, что меня ждет будущее бездельника и оболтуса, так как всем понятно, что, независимо от моего трудолюбия и прилежания, меня ждет только печь крематория.

Почему же я сейчас сижу за машинкой на обломках своей жизни и долблю скорлупу яйца в надежде (без надежды) вылупиться из нее беспомощным, мокрым и беззащитным, как цыпленок? Не потому ли, что я люблю, как не любил еще никогда в прошлом? А все мои размышления о старости, так же, как и все другие размышления, так же, как и эти жалкие письма, быть может, лишь скорлупа, лишь отходы чувственной жизни, т.е. единственно реальной жизни.

6.

Сегодня я уже не ошибаюсь, ты не позвонил ни утром, ни вечером, значит ты, действительно, уже где-то там, далеко и высоко, взбираешься на гору, согнувшись под тяжестью своего рюкзака.

Снизу, наверное, заметно, что на фоне снежного склона горы копошится несколько черных точек. Люди внизу, наверное, и тебя Принимают за человека, за мужественного человека, противопоставляющего свою волю стихиям природы, и даже не догадываясь, что эта маленькая точка лишь обман, лишь твоя одежда и твой рюкзак, а подлинный ты совсем другой — легкокрылый эльф, каждый раз незаметно выпархивающий из скорлупы, по которой я много лет (всю жизнь) терпеливо бью молотком своего разума. И в моей жизни ты выпорхнул однажды из стихов, выпорхнул нежный, настороженный, недоверчивый, полуреальность-полувымысел...

Когда я разглядел тебя получше, если только можно разглядеть нечто совсем прозрачное, то понял, что всю жизнь был окружен невыносимо тяжелыми, устойчивыми, объемными

предметами и людьми. Все, что меня окружало до встречи с тобой, имело четкие формы, углы, края, грани, плоскости, названия, объяснения. Все было порождено какими-то причинами и порождало какие-то следствия. Все подчинялось законам физики, химии, геометрии, логики, и, должно быть, именно поэтому тяжесть жизненного опыта лежала на мне, как могильная плита. И так как эта могильная плита, подобно всем другим предметам, была до отвращения реальна, то я уже смиренно готовился улечься под нее поудобнее, втиснуться в землю, в глину, в историю, в месиво тел, лет, имен, воспоминаний.

Я готовился к этому последнему в моей жизни делу спокойно и не спеша, с четким сознанием, что мой жизненный цикл завершен, что все узлы развязаны и занавес опускается.

И в это время я увидел очертания твоего лица и на моем старческом лбу почувствовал твое дыхание.

Это дыхание было не похоже ни на что другое, испытанное мною прежде. Это было дуновение чего-то, не имеющего ни названия, ни формы, ни начала, ни конца, ни прошлого, ни будущего.

И тогда я догадался, что перед моей смертью меня посетил то Божество, которое живет в каждом произведении искусства, одухотворяя его своим дыханием. Я догадался об этом, когда услышал, как ты читаешь стихи поэта "Б".

Поэт "Б" был человек больной. Он с трудом ходил, опираясь на палку. Тело не слушалось его: казалось, что каждая рука и нога хотят идти в другую сторону; и только когда он садился в кресло, и ему больше не нужны были ни палка, ни ноги, ни руки, он обретал величие и спокойную уверенность в себе, как бы становился рупором чьего-то весьма значительного и, быть может, даже не очень понятного самому поэту, голоса, который жил самостоятельной жизнью в его ненадежном теле.

Поэт читал свои стихи монотонно, ничего в них не выделяя, и содержание его стихов как бы тонуло, расплывалось в каких-то звуковых ассоциациях, как в густом тумане, из которого редкими островками отчетливо проступали отдельные

слова во всей своей реальности и предметной подлинности. По этим вершинам гор, выступающим из тумана, в моем воображении рисовалась величественная горная страна, где все вырублено природой незыблемо и навечно. И этот голос — голос надежности, уверенности и мужества, вызывал у меня мучительную зависть.

Ты слушал эти стихи, как слушал стихи других поэтов, приходивших ко мне, молчаливо и напряженно, как бы впитывая их в себя. И стихи эти падали в тебя, в какую-то твою глубину, так что несколько дней спустя ты как бы совсем не помнил их. И вдруг, через какое-то время, эти строфы начинали подниматься в тебе из глубины, из каких-то недр; поднимались преображенные, ставшие почти что твоими собственными стихами.

Они выплывали из тебя, как облака, такие же причудливые, пышные, изменчивые, и когда ты стал говорить мне об этих не своих (не своих?) стихах, то меня поразило, что в отличие от всех иных людей, рассматривающих произведения искусства извне, ты рассматривал их изнутри — рассматривал алмаз стихотворения не как потребитель, а как бы сам находился внутри алмаза, сам являлся тем источником света, который, преломляясь сквозь грани кристалла, озаряет нас своим сиянием.

А способность излучать свет, это, наверное, и есть то, что называют духовностью, или художественностью, или никак не называют, но чувствуют божественность, которая отличает живую бабочку от бабочки из коллекции.

А ты излучаешь этот свет. И твоим светом озаряется все, к чему ты прикоснешься. Это ты живешь в каждом произведении искусства. Это ты превратил мою старость в прекрасное стихотворение, в нежную мелодию, в то произведение, которое мне никогда прежде не удавалось создать.

Ты, как спичка, поджег мой затухающий костер, и языки пламени рванулись к небу.

Не покидай мой дом — свою часовню, свою пылающую часовню. Она пылает шумно и весело, с треском обуглившихся стропил, с искрами, разлетающимися вокруг.

Какая беспокойная ночь. Какая праздничная и тревожная. Не покидай свою часовню, не покидай ее! Пусть пылает она все ярче и ярче. Тебе это ничем не грозит — ты бесплотен, как искра, и также мгновенен, и также неуловим. И, быть может, только это и влечет меня к тебе, и только этому я поклоняюсь.

7.

Но он больше не вернется в свою часовню. Ему, как и всякому отважному и вечно юному Богу, никто не нужен — ни снисходительные к нему мудрецы, ни обожеествляющие его глупцы. Потому что Бог один, и он сам в трагическом одиночестве непрестанно творит свой изменчивый мир, утверждая тем самым свое величие.

Алла КТОРОВА

"КРАПИВНЫЙ ОТРЯД. ДОМ С РОЗОВЫМИ СТЕКЛАМИ"

*КНИГА РАССКАЗОВ. ВЫШЛА В СВЕТ И ПОСТУПИЛА
В ПРОДАЖУ В КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ.*

Цена книги — 8 долларов, в Израиле — 6 долларов.

Заказы принимаются по адресу:

E. SZTEIN, 7 Miles Ave., Woodbridge, Conn. 06525. U.S.A.

Леонид ИОФФЕ

ТРЕТИЙ ГОРОД



Был ввысь, как пик,
тот город взмыт —
бык
на опорах дней семи —
и затемно и под лучом,
когда весь освещен
в зарю,
тоскуя по царю,
рогами доходя до тверди,
и засветло и до зари
из камня сделанный и меди
один царил
и под отвесным зноем
и при закатном перстне
переходящей в пик скалою —
пик в поднебесье —
царил великий стольный город,
словно поднявшийся из недр,
словно несомый на опорах
семи первоначальных дней.

1976 г.

Мне кажется,
дождь размягчает скалы,
идя,
мне кажется,
что стал
после дождя
чуть менее жестоковыен пик,
поднявшийся, чтоб дни копить,

и что на толику свежее
после дождя и напоен
на пик надетый ожерельем
холмов —
холмистый окоем.

Пик ярусами окаймлен
холмов скалистых.
Вокруг — великий окоем
холмистый.

1976 г.

1

В наборе свежести спокойной
не столь тревожен облик склонов
земли —
коричневые комья
земли
и дерн вечнозеленый
и снег —
при пасмурном, словно щадящем, свете
яснеет,
как мороз на память,
трава, украшенная снежными соцветьями,
уже успевшими подтаять.

И талый снег, что не во сне,
на сабельки травы наколот —
туманный сизоватый холод,
легкая наледь на окне.

2

В городе впадин и вершин
затяли прожить —
вид на террасчатые склоны,
спадающие с плавной горестью
площадками чуть накренными
с кустарниками и неровностями —
город-курган своих же собственных руин
с дня именин.

3

Нет, мы не вынесли б тревог и опасений,
если б не снег —
по милости осенней
снег — не во сне,
и кое-где на склонах,
так выделяясь на зеленом,
снежные россыпи виднеются —
мы силимся попасть на зимний бал —
пойдем на снег играть, как было в давнем детстве,
где снег и не во сне лежал.

1977 г.

Мой город плугом перепахан,
а выпростанная из урн
порода родственного праха
горою встала под лазурь.

Со встречи воздуха и утра
все насыщался мощью свет,
пока лазурь, тучнея будто,
сгущалась к прочной синеве.

Предназначался третий город
и гору праха заселить
и синеву держать над взгорьем,
над лобным взгорьем всей земли.

1977 г.

1

Когда плуг урагана пашет
и вздрагивает шквальный воздух,
воздух кромсающий и страшный,
то кажется, что крепостные башни
шатаются над преисподней,
как сажены, —
отважно и беспомощно
взобравшиеся на скалу —
над кущами у пропасти
стать рощею,
и крыши — латы каменных скорлуп,
похоже, не продержатся сегодня,
когда воздушные угоды
подденет урагана плуг.

2

А сажены,
корнями за скалу
цепляющиеся над преисподней,
еще на день укоренились вглубь
и продержались и сегодня.

Вглубь корни удлиня
на глубь очередного дня,
день увеличил толщину
стволов на дня величину
и листьев увеличил сень
на тень величиною с день.

Есть наваждение, что вывезет одна
та становления корней величина
и нарождения ветвей, та приносимая
за день врастания и за день роста сила,
та света патока незримая,
продлительница жизни на вершок —
а время дня шло мимо дня и проходило
за время дня по диву дня, чтоб день истек.

3

Как сажены над преисподней,
мы продержались и сегодня.

1977 г.

Рюальд МАНДЕЛЬШТАМ

ЗОРЕВЫЕ КАРАВЕЛЛЫ

У луны фарфоровые плечи
 Под цветущим огненным зонтом,
 И звезда, покинувшая вече,
 К ним приникла посиневшим ртом

Как блуждают матовые руки
 По шелкам туманных кимоно! —
 У луны неведомую мукой
 Тело золотистое полно.

О, Луна! Луна неосторожна...
 В тихой страсти мертвенно-бела.
 Вся дрожит серебряною дрожью,
 Все поют ее колокола.

22.5.1954.

* * *

Я найду для граждан хмурых
 Руна умерших баранов
 И велю содрать три шкуры
 С отупевших барабанов:

— В небо дымного хрустала
 Золотые прыщут стрелы —
 Облака в туманных далях —
 Зоревые каравеллы;

Стали руки из фарфора,
 Стал булыжник перламутром,
 — Эй! Вставайте! — Из-за моря
 Возвратясь настало утро!

20.9.1954

* * *

О, предзакатная пленница!
 Волосы в синих ветрах,
 В тихой хрустальной вечернице
 Кто-то сложил вечера.

Манием звездного веера
 Ветер приносит в полон
 Запах морской парфюмерии
 В каменный город-флакон.

Пеной из мраморных раковин
 Ночь, нарождаясь бежит:
 Маками, маками, маками —
 Розами небо дрожит.

В синей хрустальной вечернице
 Яблоки бронзовых лун —

О, предзакатная пленница.
Ночь на паркетном полу!

* * *

Пальто, забрызганное ночью,
Тяжелый мокрый воротник...
Лиловой тучей оторочен,
Рассвет за крышами поник;

Одно лицо простудным жаром
Горит, когда потухло все,
Когда на улицах кошмары,
Ревут, как бешеный осел.

Когда темней, чем блеск стекольный, —
Одна мечта всегда светла:
Идти к Никольской колокольне
И, молча, бить в колокола

Пускай в ушах — дыра сквозная,
Пусть каждый дом — насквозь пробит!
— За что? — За все!
— Зачем? — Не знаю!
Но только бить и бить...

* * *

Лунный колокол бьет неумолчно
И в урочные видно часы.
Как танцует под куполом ночи
Золотой колокольный язык.

Отупевший от страшного звона,
Обезумевший ветер кричит,
Что на небо приклеен червонец
Или бронзовый греческий щит.

И при розовом блеске зарницы
Булавами изогнутых шей
Бьют гудящие медные птицы
В барабаны оглохших ушей.

* * *

В медные доски панели
Бьют прокаженные сны: —
Пейте ночные коктейли —
Лучшие вина весны!

В желтой фонарной корзине
Сноп золотых макарон —
Режьте ночную резину —
Неба закатных сторон!

Ешьте соленые стекла,
Ломти от каменных туш,
Запад малиновой свеклы
С маслом оливковых луж!

Лунно на медной панели.
Шляются пьяные сны.
Крепки ночные коктейли
Лучшие вина весны!

* * *

Весь квартал проветрен и простужен,
Мокрый город бредит о заре,
Уронив в лазоревые лужи
Блеклые цепочки фонарей.

И когда, следа не оставляя,
Исчезает утренняя мгла

Всех везут веселые трамваи
К новым ненаскучившим делам.

Только я, забыв о самом главном,
Об известных буду пустяках
Девочке, красивой и забавной,
Говорить в торжественных стихах.

А когда утихнет дома радость
И пройдет ее весенний хмель
Вдруг припомню, что сегодня надо
Уезжать за тридевять земель.

**В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ В СВЕТ
ВТОРАЯ КНИГА СТИХОВ ЛИИ ВЛАДИМИРОВОЙ
"ПОРА ПРЕДЧУВСТВИЙ"**

В СБОРНИК ВКЛЮЧЕНЫ СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ДО
ВЬЕЗДА ИЗ СССР (1969-1973 г.г.), И СТИХИ, НАПИСАН-
НЫЕ В ИЗРАИЛЕ (1973-1977 г.г.).

Объем книги — 96 стр.
Стоимость в свободной продаже — 25 лир + НДС,
при заказе по почте — 25 лир (включая пересылку).
За границей — 3,5 доллара (включая пересылку).

Заказы направлять по адресу:
Kirjat Nordau 95/26, Natanja, Israel.



Нафтали ПРАТ

ЧАС ВЫБОРА

"Мирное наступление" А. Садата нанесло сокрушительный удар по обветшалым догмам, преграждающим путь к преодолению ближневосточного конфликта. В течение многих лет все попытки стимулировать израильскую мирную инициативу неизменно разбивались с помощью одного и, следует признать, достаточно веского аргумента: арабская сторона стремится не к возвращению каких-то территорий, а к тотальному уничтожению Израиля как государства. Арабы, согласно логике этого утверждения, органически неспособны примириться с существованием еврейского государства, а поэтому всякие попытки достичь с ними соглашения на пути компромисса представляют собой, в лучшем случае, пустую трату времени, а в худшем — опасный самообман, ведущий лишь к притуплению бдительности и ослаблению боевой готовности Израиля. Этот весьма правдоподобный аргумент был возведен в ранг аксиомы вследствие своей самоочевидности.

Израильские специалисты по "арабской ментальности" написали много книг и статей, в которых развиваются всевозможные следствия и выводы, вытекающие из этой аксиомы. Эта самая аксиома легла в основу доктрины, согласно которой безопасность Израиля обеспечивается стратегическим удобством его границ для обороны от неизбежной агрессии. Даже подписанный и ратифицированный мирный договор с арабскими государствами не мог бы согласно этой доктрине служить заменой гарантиям, которые содержатся в "безопасных" границах. И вместе с тем Израиль постоянно, с достойным восхищения упорством, декларировал свое стремление к полному и окончательному миру, который был бы зафиксирован в договоре, — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Иначе говоря, позиция Израиля содержала в себе внутреннее противоречие. С одной стороны, он стремился к полному миру, к действительной нормализации отношений со всеми арабскими соседями, а с другой — стремился сохранить за собой все преимущества стратегически выгодной позиции, предполагающие отсутствие такой нормализации и реальную угрозу войны. Один из архитекторов этой политики, как известно, говорил, что предпочитает израильский контроль над Шарм-а-Шейхом мирному договору без Шарм-а-Шейха.

Инициатива Садата метила в самое сердце доктрины, оправдывающей удержание Израилем обширных территорий, оказавшихся под его контролем в результате Шестидневной войны. Президент Египта стремился наглядно опровергнуть аксиоматический характер аргумента о неспособности арабов примириться с существованием государства Израиль. Он ясно и недвусмысленно предложил Израилю мир — в обмен на отказ от удерживания территорий по соображениям безопасности. А. Садат продемонстрировал редкую смелость, решительность и готовность идти на риск, соединенные с трезвым расчетом, которые безошибочно свидетельствуют о том, что в его лице арабский мир выдвинул по-настоящему выдающегося лидера, государственного деятеля крупного калибра.

Какой разительный контраст с импульсивным и самонадеянным Насером, так легко опьянявшимся собственной

панарабской риторикой и неоднократно ввергавшим свою страну в гибельные авантюры!

Если Насер служил наглядной моделью для теоретиков неисправимой "арабской ментальности", то Садат служит живым свидетельством ограниченности их теорий. Ведь Садат отважился на беспрецедентный акт, немыслимый, преступный и кощунственный в глазах арабских экстремистов — решился поехать в Иерусалим и выступить в кнессете, полностью отдавая себе отчет в той реакции, которую вызовет этот акт в арабском мире.

Те, кто утверждают, будто Садат не предложил ничего нового, и осуждают израильское правительство за проявленную им готовность к уступкам во имя мира, просто слепы или, еще хуже, сознательно закрывают глаза на поистине революционное значение инициативы египетского президента.

Если согласиться, что Садат сделал всего лишь ни к чему не обязывающий его жест, за который он хочет получить вполне реальную плату, то придется согласиться и с тем, что неверны были утверждения, будто израильско-арабский конфликт в конце концов упирается не в территории, а в отказ арабов признать реальность еврейского государства. Это значит, что аксиома, на которой зиждилась вся доктрина удерживания территорий по соображениям безопасности, должна быть отвергнута во имя куда как более сомнительной и уязвимой доктрины божественных (или исторических) прав еврейского народа на всю территорию Эрец-Исраэль; иначе говоря, должна быть отвергнута реальная возможность мира на пути компромисса, неизбежно предполагающего уступки.

Утверждать невозможность подлинного мирного соглашения с Египтом сегодня несравненно труднее, чем несколько месяцев тому назад. Это не значит, конечно, будто визит египетского президента чудодейственным образом разрешил все спорные проблемы и устранил все препятствия на пути к миру. Нет, этот еще неиспробованный путь труден, на нем подстерегают нас многочисленные неудачи и разочарования.

Но в конце этого пути видна цель, ради которой, право же, не жаль многим пожертвовать. Речь идет о цели, представляющей сегодня утопической, недостижимой — о настоящем, полном мире в подлинном смысле взаимного признания и доверия, чтобы не сказать — дружбы. Именно об этом идет сегодня речь — а не просто о еще одном шатком перемирии между государствами, вооруженными до зубов и с подозрением следящими за каждым шагом друг друга.

Садат ведет решительную и ни на минуту не затихающую психологическую войну за мир — разумеется, за мир, который будет заключен на условиях, приемлемых для Египта. Он убедительно демонстрирует всему миру преимущества активной и реалистической внешней политики над упрямой максималистской приверженностью к догмам.

Инициатива египетского президента выгодно контрастирует с политикой прежнего правительства Израиля, которая сводилась к бесконечным проволочкам, попыткам выиграть время, ничего не решая, к стремлению увековечить шаткое и чреватое взрывом нынешнее положение.

Вместе с тем, инициатива Садата означает полный разрыв с прошлым в арабской политике. Ведь арабский отказ примириться с существованием Израиля не является плодом воображения израильских политиков и военных. В нем нашла выражение подлинная психологическая реальность — глубоко укоренившийся невроз, порожденный неспособностью взглянуть в лицо неприятной действительности, признать свою слабость и попытаться переделать себя.

Фанатической непримиримостью и Постоянной склонностью к самообману невротическая психика компенсирует себя за унижение, компенсирует свое чувство неполноценности, достигшее необычайной, болезненной остроты в результате ряда следующих друг за другом поражений.

Эти черты пресловутой "арабской ментальности" представляют собой одно из главных препятствий на пути к миру. Не случайно А. Садат говорил, что главные препятствия на этом неизведанном пути носят психологический характер. Эта невротическая непримиримость

нашла свое выражение в так называемой "Палестинской хартии", так же, как и в яростных декларациях "Фронта отказа".

Ошибка израильских теоретиков, красноречиво описывающих эту "ментальность", заключается, однако, в абсолютизации этих невротических свойств психологии арабов, в забвении того, что психология народов, так же как психология индивидуумов, подвержена изменениям под влиянием накопленного опыта. Кроме того, израильские теоретики подчас недооценивали глубину различий между арабскими странами, различий, которые не могут не влиять на психический склад их народов.

Не следует недооценивать давно уже зреющего недовольства египтян таким положением, когда этот самый многочисленный, но далеко не самый богатый народ арабского мира периодически приносит в жертву своих сыновей во имя иллюзорных целей арабского единства и палестинского экстремизма.

Непримиримость арабов, упрямо демонстрируемая в течение десятилетий, превратилась в самое убедительное оправдание территориальной экспансии Израиля. Экспансии, которая отнюдь не планировалась заранее, как утверждали арабские пропагандисты, но явилась естественным результатом войн, навязанных Израилю арабскими государствами. Арабская тактика тотального отказа от каких бы то ни было шагов в сторону примирения с Израилем и от переговоров с ним дала Израилю возможность в течение многих лет удерживать территории, приобретенные в результате отражения агрессии в справедливых войнах за свое неоспоримое право на жизнь.

Так или иначе, президент А. Садат оказался первым ответственным арабским политиком, который не побоялся бросить вызов глубоко укоренившимся в психике арабов табу и открыто протянуть руку Израилю. Этим своим историческим актом он сразу вырвался из заколдованного круга бесплодного негативизма, в котором арабская политика по отношению к Израилю замкнула сама себя. Инициатива

Садата знаменует необратимые изменения в этой политике — какие бы неожиданности ни ждали нас впереди. И глубоко ошибаются те, кто, подчеркивая (с плохо скрываемым удовлетворением) ширину пропасти между позициями Израиля и Египта, утверждают, что мост через эту пропасть невозможно навести. Если бы инициатива Садата действительно не имела никакого серьезного значения, то невозможно было бы объяснить ту ярость, в которую она привела хранителей священных традиций арабской непримиримости.

Впрочем, "Фронт отказа" слишком слаб и внутренне разделен, чтобы представлять серьезную угрозу для инициативы Египта. Трудно представить себе, чтобы арабские страны могли вести войну с Израилем без Египта. Ключ к миру, в конце концов, находится в руках тех, кто определяет египетскую политику.

По-видимому, Садат стремится к миру совершенно искренне. Но следует помнить, что ни одно государство как правило не хочет войны как таковой. Государства предпочитают добиваться своих целей по возможности мирным способом. Но если в конце концов они убеждаются, что единственным средством добиться желаемой цели является война, они могут поддаться опасному соблазну — если выгода, которой они надеются добиться с помощью войны, превышает опасность, связанную с ней. Для Египта этот соблазн весьма реален. Президент Садат отважно порвал с прошлым и начал новую главу в истории своей страны. Однако было бы опасно полагать, будто возврат Египта на старые военные рельсы исключен. Тот же президент, который поразил мир своим решением приехать в Иерусалим, еще совсем недавно поразил его столь же неожиданным решением начать войну.

Если Садат придет к выводу, что его инициатива не встречает ответа со стороны Израиля, он очень легко может прибегнуть к своему последнему средству убеждения. В этих условиях на плечи руководителей Израиля ложится громадная ответственность. Самой серьезной, если не единственной причиной грозящего срыва переговоров, приведенных в действие инициативой Садата, является неспособность Израиля

справиться с вызовом, брошенным ему египетским президентом.

Перед Израилем сегодня стоит — может быть, впервые за много лет — реальная возможность положить конец конфликту, который отбрасывает роковую тень на всю тридцатилетнюю историю государства и ставит под сомнение смысл его существования как реализации идеалов сионизма. В этих условиях огромное значение приобретает личность главы правительства Израиля М. Бегина — человека, на долю которого выпала главная мера ответственности за принятие решений, равных которым по важности не знала страна со времени Шестидневной войны.

* * *

Прошлое М. Бегина едва ли давало основания для предположений, что этот честный и мужественный политик, верный идеалу израильского суверенитета над всей территорией Эрец-Исраэль и решительный противник нового раздела страны, может оказаться подходящей фигурой для достижения соглашения, основанного на компромиссе. Правда, высказывалось мнение, что М. Бегин, подобно Ш. де-Голлю, придя к власти, может пойти на весьма серьезные уступки, радикально противоречащие тому, что он требовал и отстаивал в прошлом. Однако сам облик Бегина, каким он рисовался в глазах тех, кто был знаком с его политическим путем, казалось, исключал такую возможность. М. Бегин не является человеком, который готов пожертвовать принципами ради выгоды. Ни у кого не вызывало сомнения искреннее стремление М. Бегина к миру, однако многие сомневались в готовности нового главы правительства заплатить ту цену, которую потребует достижение подлинного мира.

Следует признать, что на посту главы правительства М. Бегин проявил качества выдающегося государственного деятеля, обладающего широтой кругозора, смелостью, решительностью и гибкостью, умением прислушиваться к чужому мнению и принимать быстрые и обо-

снованные решения. Такое сочетание качеств встречается нечасто.

М. Бегин сумел повергнуть в смятение как своих сторонников, так и оппонентов, быстро и умело отреагировав на вызов Садата и сформулировав такие предложения, которые смогли бы при определенных условиях стать исходным пунктом для постепенного приближения к миру.

В облике М. Бегина всегда было нечто, позволяющее ожидать от него решений необыкновенных, драматических, рассчитанных на то, чтобы остаться в истории. В качестве харизматического лидера оппозиции он всегда придавал большое значение внешним формам политических актов, их стилю, ценил фразу и жест, воздействие не только на разум, но и на эмоции слушателя.

Придя к власти после долгих лет пребывания в оппозиции, рассматривая свою достигнутую на склоне лет победу как достойное увенчание долгой и тяжелой борьбы за осуществление своих идеалов, М. Бегин не мог не стремиться к таким решениям, которые знаменовали бы радикальный разрыв с прошлым, подлинно революционное решение проблем, казавшихся неразрешимыми его предшественникам. Достижение полного мира означало бы именно такое решение, оно поставило бы имя М.Бегина рядом с именем Д.Бен-Гуриона.

Предшественники М. Бегина на посту главы правительства не были готовы уплатить ту высокую цену, которой требовало достижение подлинного мира. Самое большее, на что они могли согласиться, — это заключение промежуточных соглашений, лишь оттягивавших час окончательного решения, но не могущих заменить его. Их удручающе бесперспективная политика привела к тому, что инициатива переговоров надолго ускользнула из рук Израиля и целиком сосредоточилась в руках американских посредников, не всегда ведущих дело так, как этого хотелось бы Израилю. В конце концов эта политика привела к возникновению опасной напряженности в отношениях между Израилем и США, к угрозе полной международной изоляции Израиля. Придя к власти, М. Бегин

сознательно пошел на риск, провозгласив программу полного мирного урегулирования, будучи, по-видимому, уверен либо в своей способности убедить американскую администрацию в исторических правах Израиля на всю территорию Эрец-Исраэль, либо в способности Израиля выдержать американское давление, мобилизовав на помощь еврейство США. Сначала его расчет как будто оправдался, поскольку президент Картер столкнулся с решительной оппозицией американского еврейства планам создания "палестинского отечества". Однако политика, рассматривающая американское еврейство лишь как орудие давления на правительство США ради достижения особых целей Израиля, не является самой разумной политикой — ни с точки зрения поддержания хороших отношений с США, ни с точки зрения интересов самого американского еврейства.

В тот момент, когда все большую реальность приобретала перспектива решения ближневосточного конфликта, навязанного двумя сверхдержавами, пришедшими к выводу о нецелесообразности продолжения своего соперничества на Ближнем Востоке в прежних, опасных для всего мира формах (перспектива, которая как некий кошмар преследовала израильских руководителей), президент Садат выступил со своей инициативой, сразу устранившей какое-либо влияние СССР на урегулирование конфликта. Садат стремился заручиться поддержкой США и добиться американского давления на Израиль, выступая с предложениями, в общем соответствующими американским представлениям о путях урегулирования конфликта в гораздо большей степени, чем предложения Израиля. Хотя сначала американская администрация реагировала на инициативу Садата с известной настороженностью, дальнейшее развитие событий показало, что в планах Садата Соединенным Штатам уготовлена гораздо более важная роль, чем это могло казаться.

М. Бегин должен был принять вызов Садата, чтобы предотвратить совершенную изоляцию Израиля на международной арене и эрозию американской политической военной и экономической помощи. Сложившаяся ситуация требовала быстро-

го принятия важных решений, во многом противоречащих той политической линии, с которой всегда было связано имя Бегина. В этой ситуации глава правительства продемонстрировал большое политическое искусство, способность действовать, исходя не из устарелых догм, а из реальных интересов страны. В рекордно короткий срок он сумел сформулировать такие предложения, которые застраховали Израиль — по крайней мере, на время — от обвинения в срыве мирной инициативы Садата. Эти предложения могли бы стать чем-то вроде промежуточной стадии перехода к мирным отношениям между Израилем и Египтом, если бы речь шла только об отношениях между этими странами.

Признав принцип египетского суверенитета над всем Синаем, М. Бегин пошел гораздо дальше, чем готово было пойти прежнее правительство, которое настаивало на удержании Шарм-а-Шейха и полосы, связывающей его с Эйлатом. Однако самое большое беспокойство вчерашних фанатических сторонников Бегина вызвало его предложение о предоставлении автономии для арабского населения Западного берега и полосы Газы на следующие 5 лет — автономии, ограниченной в объеме и подчиненной израильскому контролю во всем, что касается внешней и внутренней безопасности Израиля.

Религиозные и светские шовинисты увидели в этом предложении чуть ли не капитуляцию перед арабами и полный отход от того учения, ревностным адептом которого был в течение многих лет нынешний глава правительства.

Истерическая реакция некоторых членов партии Бегина, сторонников Движения за неделимый Израиль и "Гуш эму-ним" на план главы правительства, в сущности, имеет под собой весьма слабое основание. Израильское правительство недвусмысленно продемонстрировало свою верность политике еврейских поселений как в Иудее и Самарии, так и в полосе Газы и в Синае. План "автономии" задуман так, чтобы его реализация не превратилась в настоящее политическое самоопределение палестинских арабов, логическим завершением которого было бы создание третьего государства между

Израилем и Иорданией. (Нет нужды напоминать, что такая перспектива отвергается не только представителями правительственной коалиции, но и подавляющим большинством оппозиционных партий.)

План "автономии" сводится к наделению арабской администрации на контролируемых территориях рядом полномочий в области образования, здравоохранения, коммунального благоустройства при фактическом исключении из ее компетенции каких-либо политических вопросов. Ряд функций этого рода уже принадлежит арабской администрации, и речь идет лишь о расширении существующего порядка, а не о коренном его изменении. Так, по крайней мере, выглядит план "автономии" в изложении М. Даяна.

Характерной особенностью плана М. Бегина является некоторая асимметрия: намечаемые им уступки носят гораздо более реальный характер, когда речь идет о Синае, чем когда говорится об "автономии" Иудеи и Самарии. Эта асимметрия выдает, по-видимому, не слишком тайный замысел автора плана: заключение сепаратного соглашения с Египтом, независимой страной, освободившейся, наконец, от пан-арабистского дурмана и советской опеки. Какое, в конце концов, дело Египту до палестинских экстремистов?

Хотя эти надежды представляют собой разрыв с прежним, недифференцированным подходом к арабам как к однородной и однообразно враждебной Израилю массе, они все же могут явиться источником опасных иллюзий. Садат с предельной ясностью очертил те условия, на которых он готов заключить мир с Израилем. Этих условий два: признание арабского суверенитета над всеми территориями, находящимися с 1967 года под контролем Израиля, и признание права палестинцев на самоопределение. Эти принципы египетский президент считает необходимым условием достижения мира и не готов идти по ним ни на какие компромиссы. Здесь он так же догматичен и жесток, как и любой другой арабский лидер. Самое большее, на что он готов согласиться, — это поэтапное осуществление этих принципов, сопровождаемое применением различных двусторонних и международных гарантий.

Садат понимает, что сепаратный мир может превратиться в бомбу замедленного действия, пока остается нерешенной проблема палестинцев. Садат не может пойти на такие шаги, которые означали бы полную изоляцию Египта в арабском мире. В глазах арабов палестинская проблема по-прежнему остается сердцевинной конфликта с Израилем. Может быть, Египет откажется от военного аспекта борьбы за то, что является, по мнению арабов, национальными правами палестинцев. Но он не откажется от демонстрации моральной и политической солидарности с этой борьбой.

Поэтому переговоры между Египтом и Израилем, едва успев начаться, зашли в тупик. Садат, несомненно, считает, что признание Израилем египетского суверенитета в Синае в обмен на мирный договор — это совершенно недостаточная плата за признание Египтом Израиля как суверенного еврейского государства, имеющего право на мир, безопасность и признание арабского мира. Даже в вопросе о египетском суверенитете над Синаем израильские предложения сопровождаются такими оговорками, которые не могут не выглядеть в глазах арабов ограничениями этого суверенитета. Речь идет о сохранении в Синае израильских военных баз и еврейских гражданских поселений, находящихся под защитой израильских вооруженных сил и подчиненных израильской юрисдикции.

Трагедия нынешнего этапа израильско-египетских отношений состоит в том, что, хотя обе стороны искренне хотят мира, ни одна из них не готова пойти на такие уступки, которые выглядят в глазах противной стороны необходимым условием урегулирования конфликта. То, что в глазах одной стороны выглядит пределом уступок, дальше которого она не может пойти (не подвергая опасности саму цель, ради которой ведутся переговоры), в глазах другой выглядит своего рода попыткой получить все, почти ничего не давая взамен.

Как это ни горько, но приходится признать, что искреннее стремление израильского народа к миру пришло в столкновение с другим, не менее мощным стимулом, действующим в его душе — с глубоко пессимистическим отношением к

перспективам мира, с верой лишь в собственную силу и неспособностью примириться с утратой каких-либо стратегических преимуществ.

Недавнее кровавое преступление террористов на трассе Тель-Авив — Хайфа преследовало одну цель: сорвать переговоры, сделать невозможным их продолжение, спровоцировать Израиль на такие действия, которые привели бы его к столкновению с Сирией, а затем — и с другими арабскими государствами. До недавнего времени каждый террористический акт неизбежно влек за собой ограниченные в объеме ответные действия Израиля, которые не оказывали никакого влияния на решимость организаторов террора продолжать свою деятельность, столь же отвратительную с моральной точки зрения, сколь и неэффективную — с политической.

Чрезвычайная, осатанелая жестокость последнего террористического акта оправдывает, по-видимому, чрезвычайный масштаб операций израильской армии в Южном Ливане. Однако не нужно забывать, что в конечном счете ликвидировать корни террора с помощью ограниченных военных операций невозможно. И если масштаб военных действий, спровоцированных преступлением террористов, перерастет поставленные им рамки, если мы окажемся втянутыми в новую войну, террористы смогут отпраздновать победу — ведь это будет означать, что им удалось добиться своей цели.

Вне сомнения, влияние США не могло не содействовать тому, что военные действия против террористов не переросли в новую большую войну. Однако никакие военные операции не могут заменить политического решения, которого настоятельно требует действительность от Израиля. Лишь решение палестинской проблемы на основе территориального компромисса способно выбить почву из-под ног терроризма. Без такого решения все военные операции, независимо от их непосредственного результата, останутся лишь паллиативами, не способными ничего изменить на длительный срок.

Нужно сказать во всеуслышание, что в Израиле есть люди — и они весьма влиятельны — которые готовы ради сохранения даже имеющих ничтожную стратегическую ценность тер-

риторий пойти на срыв, наконец-то возникшей возможности прекращения кровавого и изнурительного конфликта, длящегося десятилетиями и грозящего нам всем гибелью.

Я не могу взвешивать здесь относительную важность вопроса о поселениях в Синае и действительно сложной палестинской проблемы. Одно можно сказать с уверенностью — нигде фальшь концепции "безопасных границ" не видна так ясно, как в вопросе о Синае, особенно когда она трансформируется в концепцию "стратегических островов".

Что касается Западного Берега и полосы Газы, то здесь план Бегина, при всех его очевидных недостатках, мог бы стать исходным пунктом для продвижения к миру, если бы удалось достигнуть соглашения о принципах, допускающих различную интерпретацию и, благодаря этому, могущего привлечь к переговорам и короля Хусейна, без участия которого президент Садат едва ли пойдет на заключение какого-либо соглашения с Израилем.

Я не знаю, возможно ли такое решение, или оно относится к области несбыточных мечтаний. Сегодня труднее, чем когда бы то ни было, заниматься политическими прогнозами. И все же становится все более очевидным, что от радужных надежд на достижение немедленного и всестороннего мира, пробужденных инициативой Садата, мы должны перейти к более реалистической, хотя и менее привлекательной, перспективе упорной и длительной борьбы за своего рода "мирное сосуществование" с арабскими государствами, борьбы, в которой будут свои срывы и взлеты, свои победы и поражения — борьбы, которая, возможно, еще не раз будет приводить нас на грань вооруженного конфликта.

От мудрости лидеров Израиля — но не только от нее — будет зависеть, чтобы эта роковая грань не была перейдена. В конце концов, реальную возможность представляет собой не подлинное примирение со всеобщим лобызанием, но неустойчивое равновесие, основанное на определенном соотношении сил и на точном политическом расчете. Такое положение едва ли может вызвать энтузиазм. Однако при создавшихся условиях едва ли можно рассчитывать на нечто большее.

Единственно удовлетворительным соглашением может быть такое соглашение, которое в конечном счете никого не удовлетворит.

Израильтянам полезно помнить слова, сказанные, кажется, Вольтером: "Из двух ссорящихся виноват тот, кто умнее". Если мы продолжаем настаивать на своем интеллектуальном превосходстве над арабами, то нам следует подумать о тех уступках, о том единственном выходе, который, возможно, один только и явится самым мудрым и окажется способным привести Ближний Восток к миру.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
"LAPENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

*Дора ШТУРМАН***МИНАЕВЩИНА***Писатель и диктатура**Памяти Розы Штурман***СДАВШИЙСЯ ГРАНИН**

Последовательная демократия позволяет обществу и человеку быть честными с самими собой и друг с другом, что само по себе, может быть, их и не красит, но оставляет надежду на улучшения, на достижение понимания.

В условиях диктатуры человек и общество могут быть честными по отношению к власти (и друг к другу) лишь в том случае, когда притязания Центра счастливо совпадают с миропониманием граждан, что случается крайне редко. При всех отклонениях от этого маловероятного состояния приходится либо отказываться от своих убеждений, либо лгать, либо сопротивляться — более или менее конспиративно, ибо диктатура не терпит сопротивления. А конспирация — по строгому моральному счету — это уже безнравственность, тягостная для человека. Одна из массовых форм конспирации в условиях диктатуры — это молчание, но и молчание не спасает, ибо диктатура требует не только слов, а и действия.

К. Маркс некогда сказал: "Буржуазия во Франции и в Англии завоевала политическую власть. Тем самым пробил смертный час для научной буржуазной экономики. Отныне вопрос заключается уже не в том, правильна или неправильна та или иная догма, а в том... согласуется ли она с полицейскими соображениями или нет". Злая ирония судьбы состоит в том, что создать политическую власть и строй, которые позволили бы своим носителям пренебрегать в любой сфере мыслями всем, кроме "полицейских соображений", удалось только последователям самого Маркса. Буржуазия подобной власти над обществом никогда не достигала, если даже предположить, что она к тому стремилась или стремится.

...В 1956 году Даниилу Гранину, пожалуй, лучше, чем кому бы то ни было, удалось показать, как согласуется научная истина с "полицейскими соображениями"* в деятельности советского технократа.

Д. Гранин на нескольких журнальных страницах представил нам человека, в н у т р е н н е обычно сочувствующего тому, что автор — и с ним читатель — считает правой и добром, но п р а к т и ч е с к и всегда согласующего свои действия с "полицейскими соображениями", от которых зависит его благополучие.

Личность его раздваивается: "антиполицейская" часть этой личности осаждена ее собственной полицейской тактикой, она загнана в подполье другой конформистской частью сознания.

Герой рассказа, вначале и.о. директора, а затем директор большого столичного НИИ, в молодости потерпел сокрушительное поражение в борьбе против неправильной производственной тактики всесильного главного конструктора завода, где он работал после окончания института. Потерпев поражение, "...он сделал вид, что смирился. Он утешал себя: "Это временно. Надо пойти в обход, сперва добиться независимости, авторитета, а потом громить этих бюрократов." Стиснув зубы, он продвигался к своей цели. Его назначили заместителем начальника цеха. Он приучал себя молчать и терпеть. Во

* "Собственное мнение", журнал "Новый мир" № 8, 1956, Москва.

имя того дня, когда он сможет сделать то, что надо. Он поклялся себе все стерпеть. Он поддакивал тупым невеждам. Он голосовал "за", когда совесть его голосовала "против". Он говорил слова, которым не верил. Он хвалил то, что надо было ругать. Когда становилось совсем нестерпимо, он молчал. Молчание — самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью. Оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас... Еще рано. Всякий раз бывало рано. А список его долгов рос... Неустанно, как муравей, возводил он здание своего положения, стараясь сделать его еще крепче. Зачем? Чего он добился? Чем выше он забирался, тем меньше становился самим собой. Тем труднее ему было рискнуть. Что мешало ему? Почему другие могли? Почему Петрищев мог? Его несправедливо наказывали, понижали, снимали, а он всегда шел своим путем, напролом, и побеждал. Нет, ему, Минаеву, ничего не мешало, просто так ему было легче. Он считал, что так легче". (Разрядка наша).

Мы просим прощения за столь длинную цитату, но все это рассуждение имеет прямое отношение к теме нашей статьи. Утверждая, что Минаеву "ничего не мешало" оставаться самим собой, Д. Гранин не только искажает эпохальный смысл характера своего героя, не только клеветает на него, Гранин нагляднейше демонстрирует перед нами в своем лице изображенное им в рассказе общественное явление — м и н а е в щ и н у — отказ раздвоившегося сознания от лучшей своей части. Отказ этот проистекает якобы из благородных тактических соображений, а на деле — исключительно из приспособленческих побуждений. Отказ Минаева, человека в волевом отношении заурядного, но не бесхарактерного (он идет к своей цели — к высокому социальному положению — весьма настойчиво), от лучшей части самого себя происходит под жестоким давлением окружающей героя партийно-административной среды, и автор это давление отлично осознает и ситуационно демонстрирует в своем рассказе. Д. Гранин боится, что, не сказав, будто Минаеву "ничего не мешало" быть честным, и не введя в рассказ принципиального, бес-

страшного и, главное, всегда победительного Петрищева, он не опубликует свой рассказ.

Один писатель, упершись в необходимость подобного хода, рвет договор и переходит из ведомства Госиздата в ведомство Самиздата или Тамиздата; другой замолкает на годы; третий делает небольшую уступку реальному или внутреннему своему цензору и вставляет необходимую фразу...

В рассказе есть короткий диалог между Минаевым и его молодым референтом, в обязанности коего входит документальное обоснование мнения или желания шефа. В диалоге молодой человек сознается, что сочувствует гонимому избретателю, против которого направлено составленное им для Минаева заключение. Минаев спрашивает:

"— Почему поступаете, как Молчалин? — Референт с силой пригладил растрепавшиеся волосы: — Я пишу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь писать так, как я считаю нужным, — и он твердо посмотрел в глаза Минаеву.

— Ого! И вы надеетесь, что это когда-нибудь случится? — задумчиво усмехнулся он..."

Память, действительно, подсказывает литературную ассоциацию: и молодого человека, и Минаева, и автора рассказа, утверждающего, что Минаеву "ничего не мешало" быть честным, так и хочется назвать молчалиными... Но они не молчалины: Молчалин не знает нравственных колебаний и не страдает внутренней раздвоенностью. Полный и законченный карьерист, человек жалкого внутреннего содержания, он искренне высокомерен по отношению к неразумному Чацкому и снисходительно дает ему ценные советы. В Молчалине нет и тени трагедии, разве что можно домыслить к нему трагедию уродливого воспитания.

В минаевых есть трагизм. Минаев и его референт (и автор) изменяют с локтевыми (Локтев — инструктор райкома КПСС, "курирующий" НИИ Минаева) самим себе. Молчалин — истинный антипод Чацкого. В минаевых же подавленный Чацкий истязается восторжествовавшим Молчалиным. И в этой измене не отыскать даже того злого, задорного азарта борьбы, которым наделил Островский своего Глумова,

нет чувства реванша: минаевым не удается убедить себя, что успехи, во имя которых они себя непрерывно насилуют, чего-то стоят.

Минаевщина — удел натур внутренне достаточно цивилизованных, и вот что парадоксально: сколько бы они себя ни ломали, Локтевы относятся к ним подозрительно и неприязненно, угадывая в них насилующих себя чужаков, а не своего брата — цельного душевно подонка, упивающегося своей властью над другими или к такой власти рвущегося.

У локтевых очень развито чувство самозащиты, умение угадывать "инопородность", опасность для себя в людях, которые к локтевым лишь приравниваются, но никак не могут избавиться от второй, загнанной в душевное подполье и осложняющей их поведение "антилоктевской" части своей личности. И Локтевы правы в этой своей подозрительности: приподнимись хоть сколько-нибудь давящий на минаевых пресс, — как угадать, куда они двинутся при этакой их болезненной ненависти к своим хозяевам, благодетелям и победителям?..

В той обстановке, где живут Д. Гранин и его герои, трудно сыскать мало-мальски мыслящего человека, который ухитрился бы на протяжении своей жизни избежать греха умолчания. Но Минаев в рассказе переступает границу между грехом умолчания и грехом предательства, демонстрируя, как подчас неуловима эта граница.

В 1963 году Д. Гранин написал роман "Иду на грозу". Он проявил и в этой книге тонкое знание того душевного процесса, который позволяет человеку, зажмурив глаза (но не забывшись: минаевы никогда не забываются — они зажимают глаза), переступить через некую неуловимую грань, расположенную между умолчанием и предательством.

Дальнейшая история самого Гранина приводит нас к печальному выводу, что в какой-то мере точность изображения минаевщины обеспечена наблюдениями автора над самим собой. Маленький шаг по "ведущей вниз лестнице", который сделал Гранин, пытаясь объяснить чисто психологически "патологию характера" своего Минаева, привел писателя к

тому тяжкому для него часу, когда он уступил категорическому натиску локтевых и проголосовал за исключение А.И. Солженицына из Союза писателей. Согласившись на это, Гранин навсегда остался с Минаевым. В его писательской судьбе и административной деятельности катализатором, ускорившим выбор, стал Солженицын, от которого пришлось отречься Гранину, чтобы... Чт о б ы ч т о?.. Мы не знаем, что Гранин выиграл благодаря этому отречению, но писать хорошие рассказы он перестал...

ОПАСНАЯ ВАКАНСИЯ ПОЭТА

Итак, "минаевщина" — становится нормой всякого мало-мальски пронизательного человека, не вступающего в войну с диктатурой.

А ведь помимо заведомой лжи есть еще бесчисленные компромиссы, есть внутренняя борьба, есть постоянное стремление убедить себя, что все вокруг терпимо (если не хорошо) — чтобы не чувствовать себя подлецом. Мы не сомневаемся в том, что и демократия порождает ежечасно сходные психологические ситуации — как в малых группах и учреждениях, так и в более общих рамках. Но условия демократии не определяют категорически того выбора, который должен совершить человек, чтобы избежать борьбы не на жизнь, а на смерть. Если такая альтернатива и возникает (борьба не на жизнь, а на смерть в ходе защиты своих интересов или своей позиции) — она возникает не в соответствии с глобальным принципом демократии, а в качестве его нарушения, часто заведомо уголовного.

В условиях диктатуры носителем террора и силы является вооруженная, экономически полновластная, контролирующая все формы гласности, регламентирующая все реальное право государственная власть. Между антидемократическими силами и действиями в условиях демокра-

тии и между ними же в условиях диктатуры существует такая же разница, как между возможностями конкурирующих поставщиков на свободном рынке и всесильным государством-монокапиталистом на единственном псевдорынке (рынок без выбора — это не рынок в демократическом смысле термина) социализма.

Невозможность прямого, открытого диспута усугубляется (накрепко вколотым в души подданных диктатуры ее пропагандой) страхом повредить дискуссией, даже конспиративной, не себе, нет, а Великой Непогрешимой Идее, гипноз которой, осуществленный посредством лавинообразных потоков неправды и полуправды, преодолеть чрезвычайно трудно и не всем под силу.

Искреннейший и прозорливейший Б. Пастернак восклицает: "И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней?" И тут же кается (перед собой, перед близкими, перед родиной и вечностью, а не перед властью) : "Но как мне быть с моей грудной клеткой и с тем, что всякой косности косней?" И делает самоуничтожительный, но логичный вывод: "Напрасно в дни великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта: она опасна, если не пуста"!

В. Маяковский, отдавший себя, казалось бы, безраздельно коммунистическому мессианству, пишет: "Хорошо у нас, в Стране Советов: можно жить, работать можно дружно. Только вот поэтов, к сожаленью, нету... Впрочем, может, это и не нужно?.." И как ни искренне он "себя смирял, становясь на горло собственной песне", — в конце концов, он убил эту непокорную песню, выстрелив в себя самого.

Для кого опасна "вакансия поэта", "если не пуста"?! Кому не нужны настоящие поэты?!

По-видимому, все той же Единственной Великой и Непогрешимой Идее. И это противоестественное величие, которое боится пророческого дара поэзии, в глазах третьего поколения непрерывно уничтожаемых и самоуничтожающихся

литераторов все еще продолжает оставаться величием! Таков гипноз повторения одного и того же комплекса догматов в течение жизни трех поколений подданных диктатуры.

"Да, он наступил на горло собственной песне", — говорил К. Паустовский. И это ужасное, ничем не оправданное самоубийство духовное, предшествовавшее самоубийству физическому, Паустовский (а мы привыкли его любить: он тонкий лирик, он порядочный человек, он не конъюнктурщик и не карьерист — таково общее мнение) называет "подвигом поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа"! Великий поэт заставил молчать свою песню ради блага страны и народа! Песня гения, которая могла повредить стране и народу, — непостижимом!

САМОРАСПЯТИЕ ОЛЕШИ

А это говорит китайский писатель Го Мо Жо: "Прошло более 20 лет со дня опубликования "Выступлений на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани" председателя Мао. Я читал их много раз. Иногда на словах я могу говорить о необходимости служить рабочим, крестьянам и солдатам, о необходимости учиться у них. Но все это остается лишь на словах. Только говорить о марксизме-ленинизме, только писать о марксизме-ленинизме — это не значит работать по-настоящему, не значит претворять его на практике, не значит поступать в соответствии с указаниями председателя Мао, не значит овладевать идеями председателя Мао... Моя сегодняшняя речь — это выражение моего состояния... Я высказал то, что у меня на душе. Теперь я должен хорошо учиться у рабочих, крестьян и солдат, преклоняться перед ними, как перед уважаемыми учителями. Хотя мне уже за семьдесят, но у меня еще есть мужество и воля; иными словами, если мне нужно повалиться в грязи, то я хочу это сделать, если мне нужно испачкаться мазутом, то я хочу это

сделать, и даже если нужно будет обгадить тело кровью в случае нападения на нас американского империализма**.

От этой сбивчивой задыхающейся скороговорки, от этого стариковского бормотания веет смертельным страхом — перед застенком охраны, перед толпой озверевших подростков-штурмовиков. А мы говорим иногда, что Орвелл утрировал ситуацию.

А это — Юрий Олеша. Здесь нет ни страха, ни потери собственного достоинства: здесь все искренне. Но тем более страшно и горько читать это самоотречение — видеть, как дар художника корчится на внутреннем аутодафе, зажженном Единственной Великой и Непогрешимой Идеей в его собственном мозгу: "И вот сейчас возник вопрос, в который упираться, что называется, лбом — вопрос о перестройке, вопрос о приобретении ленинско-марксистского понимания жизни. Я хочу перестроиться." Далее подчеркнуто нами: "Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Это слабость, от которой я хочу отказаться. Я хочу отказаться от всего, что во мне есть, и прежде всего от этой слабости. Я хочу свежей артериальной крови, и я ее найду. У меня поседели волосы рано, потому что я был слабым. И я мечтаю страстно, до слез, до воя мечтаю о силе, которая должна быть в художнике, которым я хочу быть***.

Послушайте, может быть, это издевательство над читателями? Может быть, это чудовищный гротеск в форме авторского монолога? Не будем обольщаться: ниже — мольба о доверии, об отсрочке, о праве "перестраиваться" самостоятельно, по своему разумению: "Я, конечно, перестроюсь, но как у нас делается перестройка? Вырываются глаза у попутчика и в пустые орбиты вставляются глаза пролетария. Сегодня — глаза Демьяна Бедного, завтра — глаза Афиногенова, и оказывается, глаза Афиногенова — с некоторым изъяном... Я сам найду путь, без кондуктора... Я себя считаю пролетарским писателем. Может быть, через тридцать лет меня будут читать как настоящего пролетарского писателя."

* Речь на диспуте "Художник и эпоха", 1931.

** "Литературная газета" 5.V.1966.

Бог миловал: через тридцать лет его начали читать снова — как незабываемого Олешу, "Зависть" которого так и осталась — не панегириком пролетарию, а "отходной" интеллигенту и интеллигенции... Той самой интеллигенции, о которой говорит В.Г. Короленко: "Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте всякого строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, декабристы. Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, — с теми, кто в эту ночь сидит над книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьмы, все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее... Человечество начало творить свою историю со дня, когда появился первый интеллигент."

В.Г. Короленко вовремя умер, умер тяжело разочарованным в революции, но не отрекшимся от самого себя.

А это — опять Олеша: "Высший ум, высшая интеллигентность — в понимании того, что пролетариат — единственная творческая сила и что она перестроит мир." (Ст. "Черный человек", 1932).

Убежденность, искренность, страстность?

Может быть.

Но что же думал и что говорил Олеша, когда вырывали глаза его любимому Мейерхольду? Как пережил он убийство Бабеля, столь ему симпатичного, не выйдя на площадь и не завопив: "Спасите"?!

"Нет, во мне хватит гордости (???) сказать, что, несмотря на то, что я родился в старом мире, в моей душе, в моем воображении, в моей жизни есть много такого, что ставит меня на один уровень с рабочими и крестьянами". ("Черный человек").

"Все-таки "есть", все-таки "ставит на один уровень"!..

Так преломлялась (и преломляется!) в сознании склонного к самоанализу, самоотречению и самообвинению интеллигента изуверская идея социальной неполноценности профессионального создателя всех духовных сокровищ мира — интеллигенции.

Так овладевает этим ранимым и не склонным к самоуверенности сознанием ничем не оправданное, более давнее, чем ошибка Маркса, чувство мистического мессианского превосходства самых невежественных слоев населения — в первую очередь — над "слабым", "оторванным от жизни", "ничего не производящим" классом интеллигентов.

МОЛЧАНИЕ И СОУЧАСТИЕ

Утверждение "превосходства" какой-то профессиональной группы (класса) как целого над какой-то другой профессиональной группой (классом) как целым — не более обоснованная позиция, чем расизм или нацизм. Вряд ли цивилизованному сознанию может быть свойственен надличностный (классовый, расовый, национальный и пр.) подход к реальным, конкретным людям. На наш взгляд, личностный подход к человеку (синоним признания прав личности, не зависящих от ее национальности, расы, профессии и других групповых признаков) по определению должен входить в понятие цивилизованности как человеческого миропонимания, так и законодательства.

Но человек убежден в "превосходстве пролетариата" и совершает преступление против себя самого: заставляет себя опуститься до миропонимания своих душителей — демьянов бедных, афиногеновых, Сталиных и других носителей Благодати Единственной и Непогрешимой Идеи.

"В самом доходчивом виде" "Идею" выражали в те годы сочинения Сталина, и весь мировоззренческий запас советской официальной идеологии умещался в знаменитой IV главе сталинского "Краткого курса истории ВКП(б)".

Служба преступной идее не может не превратить самого мирного человека в соучастника ее преступлений: в 1937 году Олеша, как и сотни других печатающихся хоть изредка литераторов, пишет о фашизме, а не о "ежовщине", о жертвах Гитлера, а не Сталина, хотя и теряет одного за другим своих

ближайших друзей. В 1938 году печатается его некролог о Станиславском, о котором и без того издаются километры строк, а не о Бабеле и Кольцове. Было от чего умереть. Он не умер, но и лучшее из того, что ему удалось опубликовать, изуродовано авторским насилием над самим собой и цензурой.

Что он мог сделать?

Кто бы стал печатать некрологи о Бабеле, Мандельштаме, Мейерхольде, Кольцове?.. Никто, конечно. В том-то и ужас возникшего положения. А в некрологах, которые печатаются сейчас, через тридцать лет, не рассказывается ничего об истоках и обстоятельствах страшной реакции, унесшей десятки миллионов жизней. Сегодня есть Самиздат, которого тогда не было. Но до нелегальности надо дозреть, решиться на нее, переступить через инстинкт самосохранения, не говоря уже о ее технической трудности в условиях всеобъемлющей диктатуры. Пока же человек до нелегальности не дозрел и борьба идет только внутри сознания, он подчинен диктатуре и разделяет ее деяния, активно или пассивно.

Что такой-то — подлец, а такой-то — дурак, а третий — смесь того и другого, порою бывает довольно ясно. Панферов, Кочетов, Фирсов, Софронов и т.д. и т.п. недоумения у большинства квалифицированных читателей не вызывают. Но — Паустовский! Опять — Паустовский: он скорбит (печатно) об эмиграции Бунина и Куприна, называя ее ошибкой, и не спрашивает себя, мог ли бы Бунин молча, без протестов и вопросов, вынести столько смертей и казней, сколько вынес он, Паустовский, безмолвно смотревший, как увозили в застенки одних только членов Союза писателей СССР более шестисот человек. Паустовский — после 1956 года! — говорит, что Александр Грин умер "на пороге свершения своей мечты" — это в 1932-м году-то! — на пороге "прекрасного будущего", "на пороге социалистического общества, не зная, в какое время он умирает. Он умер слишком рано" (для того, чтобы последовать за Мандельштамом и Бабелем?)... "Ожидание нагнало на него скуку и разрушало поэтический строй его ощущений. Может быть, в этом заключается причина малопонятной для нас отчужденности его от времени."

Что это — затмение ума? Самовнушение? Прямая и кощунственная ложь? Не мог же Паустовский, если даже поверить, что он прожил слепым всю свою жизнь (дружа с самыми пронизательными жертвами времени) в шестидесятых годах, когда он писал о Грине, еще не зная, как своевременно умер Грин и чего он дождался бы, не умри он так вовремя — на самом пороге "Зурбагана и Лисса" тридцатых годов?!

"Ни одной не изломанной писательской чести, ни одной свободной души не оставили эти годы — кроме тех, кто умер раньше, чем понял, кто нашел мужество не принять и не участвовать (эти в большинстве своем уничтожены), а также тех, кому нечего было в себе ломать за полным отсутствием души и совести — они-то и составляли и составляют плоть и дух диктатуры.

Впрочем, и на самом веру литературной иерархии диктатуры было не так уж много спокойных и цельных в своей слепоте или подлости душ. Недавно Иракий Андроников, один из талантливейших конъюнктурщиков "нашей советской эпохи", провел прямую преемственную линию от Пушкина и Некрасова к Фадееву и Асееву.

Несколько слов о Фадееве: "Фадеев свято верил, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Порой А.А. не мог удержаться: в Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда, потом, незадолго перед смертью Сталина припомнил Якира, Штерна, говорил: "Его обманывают"... В конце сороковых годов ему многое претило, и, опять-таки, он находил объяснение: "Мутная волна... Сталин ее удерживает"... К вере примешивался страх: "Я двух людей боюсь — мою мать и Сталина. Боюсь и люблю." Фадеев иногда говорил о какой-нибудь книге: "Конечно, талантливо... Но поймите меня правильно — дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная,"* — писал Эренбург. И далее:

"В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу... А в 1949 году, рассердившись на одного критика, он

* И. Эренбург, "Люди. Годы. Жизнь". Соч., т. 9. Последующие отрывки отсюда же.

сказал мне: "Считают, что я придираюсь, провожу свою линию, да я регулировщик и только!"

"В 1928 году Фадеев напал на поэму "Хорошо" Маяковского. В 38 году он назвал эту поэму историческим событием" (напомним, это было после того, как Сталин пожаловал Маяковскому посмертный титул "лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи").

"Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего", — говорит Эренбург.

Фадеев был обыкновенным сталинистом, служившим по ведомству литературы и выполнявшим беспрекословно все акции по идеологическому уничтожению писателей, которых другие отделы того же "главнокомандующего" уничтожали физически. Эренбург дружески беседовал с этим человеком, который при первом же указании сверху "урегулировал" бы и уничтожение Эренбурга. То, что генерал этот (а не солдат! И не смелый, а неуязвимый ни для кого, кроме главнокомандующего и других его псов, — потому и не боялся он никого, кроме босса) не был внутренне цельным, спился и в конце концов застрелился, заставляет, конечно, по-человечески о нем пожалеть, но не уменьшает тяжести совершенных им преступлений. Эренбург пишет: "Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличал "отход от жизни некоторых писателей", среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. А.А. уговорил меня войти в кафе, на углу, заказал коньяк и сразу сказал: "Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?" И начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только затем, чтобы спросить: "Хорошо?"

Фадеев в конце концов застрелился. Эренбург же так и не понял, что обыкновенная человеческая порядочность обязывала его защищать Пастернака перед Фадеевым в Союзе писателей и отказаться слушать Фадеева в кафе, на улице Горького... Он подчеркивает безнравственность поведения Фадеева

— вождя ССП, но не замечает безнравственности своего поведения.

"Как славно быть ни в чем не виноватым — совсем простым солдатом, солдатом"...

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Говорит Александр Довженко, писатель и кинодеятель, который нам, простым смертным, казался со стороны достаточно гибким, достаточно послушным официальным требованиям: "Помню, накануне самоубийства мы с ним (с Маяковским — прим. наше) сидели в садике дома Герцена оба в тяжелом состоянии — я по причине зверствований, совершенных над моей "Землей"; он — изнуренный рапповско-спекулянтско-людоедскими бездарями и проходимцами. "Завтра заходите ко мне днем, давайте посоветуемся, может, нам удастся сколотить хоть небольшую группу творцов для защиты искусства, потому что то, что происходит вокруг, это нестерпимо, невозможно!"

"Небольшая группа творцов для защиты искусства" — это, по тогдашней квалификации, — ст.58, п.п. 10-11 УК РСФСР. Маяковский не дождался уголовной квалификации его настроения и застрелился на второй день после своей беседы с Довженко, а дневники последнего так и не были изданы (если не считать отрывков в "Литературной газете", напечатанных в пору "оттепели"). Но дело не в этом. Вернемся к Довженко. "Писатель, когда он что-то пишет, должен ощущать себя на уровне, на высоте наивысшего политического деятеля", — говорит Довженко и несколькими строками ниже внушает себе: "Надо взять себя в руки, заковать сердце в железо, собрать волю и нервы, хотя бы последние, и, забыв обо всем на свете, создать сценарий и фильм, достойный великой нашей роли в великую историческую эпоху."

Что же так напрягает нервы исполнителя "великой роли" в "великую историческую эпоху"?

"Вчера Н. привез мне из Киева известие о снятии меня с должности художественного руководителя студии... На меня находила всегда гнетущая тоска при одной только мысли о просмотре картины... Вот уже несколько лет тянется моя "Жизнь в цвету". Я написал ее как повесть и как пьесу. Я выстрадал ее как цветной фильм, выжал и выстонал, изнемогая от приступов стенокардии и тупого бюрократизма... Потом ее показали Великому Вождю. Наивеличественнейшему из смертных, с тех пор как мир существует, и наивеличественнейший отбросил мой труд.

Теперь меня распинаят киноорганчик. Я сижу целехонький день за столом. Я должен попить, отвергать созданное, ненавидеть то, чем восхищался, что создано из многих тонких компонентов. И написать произведение-гибрид — старую поэму о творчестве и новую поэму о селекции. А сердце болит, и часто, идя от стола после целого дня труда, я оглядываюсь на сделанное — как его ничтожно мало.

А усталость такая, будто целый день ворочал камни в тревоге."

Что же это? Самоотречение ради идеи ("но я себя смирял, становясь на горло собственной песне")? Безоговорочная вера в авторитет и "прерогативы главнокомандующего"? Во власть, диктующую писателю, как ему видеть мир?..

Нет, это чудовищное раздвоение мысли и печатного слова, чудовищная минаевщина. Читайте: "Товарищ мой Сталин, если бы вы были даже Богом, я и тогда не поверил бы вам, что я националист, которого надо клеймить и держать в черном теле... Зачем превратили вы мою жизнь в муку? Для чего отняли у меня радость?.. Растоптали сапогом мое имя?".

Эти случайно прорвавшиеся в печать отрывки — не письмо к Сталину из тюрьмы или в канун ареста (были и такие), это дневник, прочитанный разве что на ухо жене и ближайшим друзьям (писался-то он до наступления короткого облегчения гнета, последовавшего за смертью тирана). Это дневник, не мешавший его автору выполнять все требования ненавистного ему деспота!..

"Все же я прощаю вас. Потому что я часть народа. Я все-таки больше вас. Будучи бесконечно малым, прощаю вам вашу малость и зло, потому что и вы несовершенно, как бы ни молились вам люди. Бог есть. Но имя ему случай."

Откажемся от поисков логики и моральной последовательности в этих отрывках: они там и не гостили. Отметим другое: то, что миллионы людей верили Сталину или партии и ошиблись в них, — это трагедия. Среди этих людей были, разумеется, и писатели. То, что сотни людей знали о преступлениях Сталина, ненавидели его, трепетали перед ним и сочувствовали словом и делом во зле, — это элементарная уголовщина. Но то, что художники, не верящие в него, не только молчали, но и продолжали его лепить, рисовать, играть, воспевать, подчиняться ему в сокровенных процессах творчества, калеча по его ненавистной указке свою работу, — это подлог и двойное (себя и читателей) предательство, это хуже самоубийства...

Писатели Госиздата, прямо, во внеобразной, декларативной форме, касающиеся страшных вопросов времени, вынуждены прибегать к оговоркам, самоограничениям, оправданиям — к установлению определенного "алиби", чтобы избежать обвинений в неблагонадежности: "Я и теперь могу писать только о том, что видел: о своей жизни в Москве, о жизни пятидесяти, может быть, ста друзей и знакомых, с которыми я тогда встречался, не анализировать, не помышлять о большом историческом полотне (разрядка наша), но показать быт, да и душевное состояние мое, моих приятелей, главным образом, писателей и художников", — пишет Илья Эренбург ("Люди, годы, жизнь"), хотя о падении Парижа он рискнул написать "большое историческое полотно", и даже с анализом и обобщениями (о качестве этого полотна мы здесь не говорим).

"Быт и душевное состояние" Ильи Эренбурга и его приятелей — это для нас давно уже не секрет. Простое бытописание для тех времен, которых он касается в своих мемуарах, немислимо: быт тех лет — это гибель О. Мандельштама в лагере, Н. Вавилова — в тюрьме; это убийство Михоэлса; это

самоубийство Маяковского и Цветаевой; это "большой террор" — это бесчисленные трагедии, лично коснувшиеся Эренбурга и его друзей. Как же рассказывать об этом "быте", не анализируя, не создавая — при столь необъятном круге знакомых — "широкого исторического полотна"?..

В канун войны между Германией и СССР Эренбург писал: "Додумать не дай, оборви, молю, этот голос, чтоб память распалась, чтоб эта тоска раскололась... ..Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость, не видеть, не помнить, что с нами в жизни случилось..."

Ю. Бондарев — писатель и другого поколения, и, на наш взгляд, иного масштаба, чем Эренбург (при всех самоограничениях и провалах последнего). Роман Ю. Бондарева "Тишина" рассказывает о послевоенной эпохе. Герой романа умирает в тюрьме — коммунист умирает в советской тюрьме! — и пишет сыну, вчерашнему офицеру-фронтовику: "Мой дорогой сын Сергей! Если ты когда-нибудь узнаешь, что со мной случилось, — верь, что я и другие были жертвы какой-то страшной ошибки, какого-то нечеловеческого подозрения и какой-то бесчеловечной клеветы.

...Что бы ни было, мой сын, будь верен делу революции, только ради этого стоит жить. Я верю в твою непримиримую честность.

...Придет время, и оно, мой сын, с а м о (?! — разрядка наша) разберется в судьбах правых и виноватых..." — И так далее в том же духе.

"С а м о"? Как же может "время" (когда же существовало историческое время вне нас, живущих и творящих историю?) разобраться в чем-то "само"?

Почему не разбирается в судьбах "правых и виноватых" автор романа или автор письма? Как может сын, оставаясь "непримиримо честным", ждать, пока время во всем разберется "само", когда убивают людей? Отца?! Что же есть честность? "Мужество" не залезать в чужие карманы?..

Та же надежда на время звучит и в чудесном довоенном стихотворении Эренбурга, написанном им в страшном 1937 году, когда обитатели столичных квартир в ужасе прислуши-

вались ночами к шагам на лестницах и к шороху шин: "Закончится и наше время среди лазоревых земель, где садовод лелеет семя и мать качает колыбель, где день один глубок и долог, где сердце тишиной полно и где с руки усталый голубь клюет пшеничное зерно..." А несколькими строками ниже написано: "Дошли известия о судьбе Мейерхольда, Бабеля, я терял самых близких друзей".

И снова стихи: "Друзья редуют, и молчит беда"... Все это опубликовано в мемуарах, *post faktum*.

Мы далеки от мысли кого-нибудь упрекать: Эренбурга, или Бондарева, или яшинских малограмотных колхозных "вождей"* в их общей надежде, что время во всем разберется "само", без их, столь рискованной для них, помощи. Но можно ли за этими мечтами и уверениями, призванными загипнотизировать "время" (власть), в глубине жаждущих неведения писательских душ, не разглядеть измученного Минаева, тоскующего арестанта, ряды тупеющих "рычагов" — тривиальный страх, столь естественный в человеке перед машинным натиском диктатуры?

Эренбург заверяет нас как "старый беспартийный писатель": "Нет, идее не был нанесен удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой."

Право же, это все та же минаевская казуистика!

Какой "идее не был нанесен удар"?

Идее создания самого демократического и свободного строя в истории человечества по рецептам марксизма-ленинизма был нанесен роковой удар: тридцать лет (берем лишь эпоху, о которой говорит, в основном, Эренбург) гигантским государством управляли... Кто же им управлял? Тиран? Маньяк? Шайка разбойников? В свободном государстве люди не гибнут молча, писатели не боятся защищать безвинных, не прикрывают и не воспевают убийц и душителей, художники не оплакивают под сапогом диктатора своей независимости.

Идее создания по тем же рецептам самой продуктивной и выгодной массам экономики был нанесен удар: в этой эконо-

мике всегда господствует дефицит, который постоянно ложится на плечи трудящихся и никогда — на плечи ответственной партбюрократии и ее лакеев.

Удар не нанесен идее построения коммунизма?

Лишь потому, что, не подлежа экспериментальной проверке, эта идея так и остается той чисто литературной, спекулятивно изобретенной конструкцией, какой она была в 1840-х годах. Будущее в этом плане так же надежно законспирировано от нас, как загробная жизнь.

Явным или слегка завуалированным лейтмотивом книг (а затем и публицистики Самиздата) 1956-1960 г.г. была следующая утешительная идея: до 1956 года "правда" была в СССР под запретом, и именно этим обуславливалось все зло, царившее в жизни. Следует вывести "правду" из-под запрета, оживить романтику борьбы за нее, возродить пафос борьбы против лжи и зла (характерный, согласно данной концепции, для "досталинской" эры советской истории), и социализм "вернется" к тем высоким нормам, которые якобы господствовали в партийной, государственной и общественной жизни до времен "культы личности Сталина". Злейший парадокс советской истории в том, однако, и заключается, что "правда" была тотально изгнана из ее повседневности и словесности в силу свойств самой жизни — в силу коренной неспособности режима выдержать правду. Кто знает, сколько потребуется времени, чтобы этот парадокс был понят всеми? И придет ли вообще в Россию час самосознания — не минаевского, не ложного и раздвоенного, а истинного, без которого не вырваться ей из лжи и страданий?..

* "Рычаги", "Литературная Москва", 1956.

ЖУРНАЛ "ЭХО"

В Париже начал выходить новый литературный ежеквартальный журнал "Эхо", редактируемый В. Марамзиным и А. Хвостенко. Повод для выхода еще одного журнала — обилие рукописей из России.

В 1-м номере читайте повесть ленинградца Владимира Губина "Бездожде до сентября", рассказ В. Рыбакова "Закон", отрывок из распространяемой самиздатом книги Георгия Пескова "Разговор с собой", "Письмо из лагеря" Михаила Хейфеца, публикацию прозы одного из крупнейших русских поэтов Александра Введенского, уничтоженного при Сталине, большие подборки стихов трех поэтов — И. Бродского, Э. Лимонова и А. Хвостенко, статьи А. Волохонского о Набокове и В. Марамзина о Максимове и др.

ЖУРНАЛ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТЛИЧИИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ, ОДНАКО НАДЕЕТСЯ БОЛЕЕ ДРУГИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ИМЕННО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОЦЕССАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, А ТАКЖЕ ВВОДИТЬ В РУССКИЙ ОБИХОД НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ИНОЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Журнал продается во всех русских магазинах. Цена 16 фр. фр.

Выход в свет альманаха "Аполлон" вызвал резкую реакцию в некоторых эмигрантских газетах. Критики "Аполлона" не скупилась на обвинения, обрушиваясь на это шокировавшее многих из них экспериментальное издание. Подобная ситуация в искусстве сама по себе не нова и периодически повторяется в отношении любых нетрадиционных явлений культуры. В этом номере мы публикуем статью одного из участников альманаха "Аполлон" художницы и поэтессы Елизаветы Мнацакановой, в которой автор утверждает беспорное право художника на эксперимент.



Елизавета МНАЦАКАНОВА

ИСКУССТВО И ПРЕДРАССУДКИ

Анализируя многочисленные критические отклики на альманах "Аполлон", мы обнаружили весьма интересное социальное явление: критика почти единодушно повторяла все заповеди и "основные положения" советской "эстетики", а если взглянуть на дело шире, то следует сказать, что это были, скорее, основные заповеди советской идеологии вообще.

Я не берусь ни судить, ни определять это явление, но оно существует. Вероятно, это задача социологов — изучить и оценить такой социальный парадокс. Может быть, и для историков такая задача представляла бы интерес. Ведь именно отношение людей к искусству выявляет скрытые тенденции общества, его позитивную силу или порочность, жизнеспособность или ущербность. Та тенденция к удушению свободы, к неуважению человеческой личности как таковой, что приводит к гибели общества (об этом мы часто читаем в обеих враждующих "прессах", советской и антисоветской), прежде всего и наиболее всего распространяется на искусство.

Почему подлинно свободное и подлинно независимое искусство, то есть искусство, не зависящее ни от государства и власти, ни от борьбы за государство и власть, искусство, живущее с в о и м и идеями и с в о е й жизнью, так яростно преследуется любой деспотией, любым тоталитаризмом, любым воплощением человеческой агрессивности — на этот и подобные вопросы нам отвечает или ответит наука социология. Я же попытаюсь сформулировать некие творческие принципы — быть может, и они покажутся некоторым читателям достойными внимания. Не знаю, в какой степени то, что я скажу, относится к творчеству участников "Аполлона". Мне хотелось бы здесь напомнить, что многие авторы этого издания дорогой ценой заплатили за право независимого творчества. Некоторых из них нет сегодня в живых, и я позволю себе говорить как бы от их имени тоже.

* * *

Мое слово обращено более всего к русскому читателю: проблема свободы творчества в Европе сегодняшнего дня уже не стоит так остро, если не решена окончательно. Мы безусловно можем говорить о победе принципов демократии во многих странах Европы, о "свободном мире", как пишут в газетах. И прежде всего, это отражается на судьбе искусства. Сегодня в Европе никому не приходит в голову оспаривать право искусства и художника быть самим собой, самому творить законы и критерии своего искусства, работать в полном сознании своей независимости, пользуясь и наслаждаясь не только свободой д у х о в н о й — каждый художник д у х о в н о свободен — но и свободой о б щ е с т в е н н о й . Здесь я не касаюсь вопросов материальных, коммерческих: полагаю, что они не имеют отношения к искусству.

То, что в Европе поэзия, живопись, музыка давно и прекрасно свободны, доказано существованием таких разных школ, групп, направлений и личностей, как например, знаменитая "Венская группа" (Wiener Gruppe) поэтов, как Дармштадтская школа композиторов, как стихи австрийских поэ-

тов Ханса Карла Артманна, Герхарта Рюма, Пауля Целана, Ингеборг Бахманн, Кристины Лавант, немецких поэтов Хельмута Хайсенбюттеля, Карла Кролова, Гюнтера Эйх — какие же это разные личности! Но уверена, что ни одному из перечисленных не удалось бы напечатать ни одной строки, будь он русским поэтом. Да и вообще такая ситуация немислима по множеству причин. Ни над поэтом, ни над поэзией Европы не довлеют уже предрассудки — я имею в виду сумму предрассудков, составляющую любую идеологию. Поэт и в творчестве и в общественной жизни должен быть свободен от любых догм. Такая свобода вырабатывается веками культуры. Подлинный поэт не думает и не должен думать, что он владеет лучшим в мире языком, о с о б е н н ы м во всяком случае, — нет таких языков, и никто не знает это лучше поэта, тем более, когда поэт знает много иностранных языков и знает поэзию многих стран и культур; другое дело, что для поэта может существовать проблема самовыражения в пределах того или иного языка. Также не может быть для поэта ни национальных, ни политических ни прочих догм, ограничений и запретов; пограничные столбы поставлены не для культуры. Плох тот поэт, который доверяет пограничному столбу больше, чем зову человеческого сердца. Для человека же не может быть более человеческой тяги и тоски, чем тоска по неведомой стране, неведомому языку, непознанному миру. Без этой тоски человек — не человек, а поэзия — не культура. Одна из тенденций современной поэзии — соединение нескольких языковых слоев, использование возможностей многих и разных языков одновременно — и нельзя не признать такую тенденцию глубоко гуманной, по-настоящему человеческой. Характерен сейчас интерес поэтов к соединению множества языков, к выявлению существа человеческой речи вообще. И быть может, это даст нам какие-то новые возможности, чтобы понять, наконец, что же за существо такое — человек, со всеми его привычками, амбициями и претензиями? Огромную работу проделали поэты Австрии с разными диалектами австрийских вариантов немецкого языка, открыв

поистине неисчерпаемую сокровищницу поэзии. Они начинали с эксперимента — и достигли подлинных высот искусства. В своей работе они были совершенно свободны — и внешне, и внутренне. Им удалось создать нечто вроде новой системы записи элементов речи — и никто, даже издательство и издатели, не усомнился в закономерности и правоте такого рода поисков, и, насколько мне известно, психическая полноценность этих поэтов не подвергалась сомнению. Более того, почти все было быстро и оперативно издано. Перелистывая сейчас эти издания, содержащие, быть может, самый смелый в истории литературы эксперимент, я невольно вспоминаю горькие слова Хлебникова: "в России нельзя напечатать ничего, кроме переводов и подражаний". Мне кажется, что эти слова обвиняют не только политическую ситуацию, но и целую эпоху жизни литературы. Сила привычки и догматизма создает плохую атмосферу для нее.

Раз уж мы заговорили об атмосфере: человек не может существовать без кислородного обмена. И точно так же не может существовать культура в вакууме, не общаясь с миром, не отдавая ему своей сокровенности и не принимая его сокровенности. Этот обмен — необходимый человечеству не менее, а может быть, и более, чем кислородный обмен, — одно из самых важных условий земной жизни. Вот почему поэт стремится знать языки, много иностранных языков, жить не только своим творчеством, своей работой, но знать, много знать о работе своих собратьев на других материках. Нет ничего губительнее для литературы, чем обособленность ее. Отъединение от общего процесса неминуемо рождает эту косность, глухую, беспробудную невежественность, застой мысли, националистическую спесь. Как надоели эти сказки о "лучшей в мире литературе", о "самой человечной", о нациях, более или менее способных к созданию, к воздаянию, о самом великом языке, о самом бессмертном языке, о самом великом слове — мрачным человеконенавистничеством отдает от этих сказок шовинизма и националистической пропаганды. И не упомнишь, какой гитлер упивался

подобными мифами! Наши сыновья и ученики на языках немецком, русском, великом и малых (ведь если есть великие языки, то должны существовать и малые, если упоминается в е л и к о е слово, то которое же м а л о е?), да пребудут свободны перед лицом мифов человеконенавистничества во веки веков.

Вот почему я обращаю свое слово (великое? малое?), прежде всего, к читателю молодому.

Но после всего здесь сказанного ясно, что не только к молодому. И не только к русскому — для европейца еще сегодня все здесь высказанное может представлять известный интерес. Явления социального и культурного атавизма отнюдь не безобидны. При благоприятных условиях они обнаруживают способность широко распространяться. Эпидемии существуют не только в сфере биологического нашего естества. Гораздо опаснее эпидемии всеобщего и повального мракобесия или невежества. Почему люди, боясь инфекции брюшного тифа или дифтерии, так легкомысленно игнорируют опасность бацилл косности или конформизма? Есть ли большая опасность для молодого организма?

Вот почему я повторяю еще раз: в наибольшей степени мое слово обращено к молодым. Я еще надеюсь, что мои ученики прочитают когда-нибудь обращенное к ним слово предостережения и надежды.

Сначала предостережение. Не верьте мифам об искусстве. Один из них мы уже бегло рассмотрели. Но вообще: не верьте мифам, и главное: не верьте мифам и словам нехудожника об искусстве. Доверитесь ли вы в открытом море человеку, который возьмется вести ваш корабль, не имея ни малейшего понятия о мореплавании, не будучи при ро ж д е н н ы м о б у ч е н н ы м мореплавателем? Поверьте, что искусство — не менее сложное и опасное ремесло, чем кораблевождение. Не давайте невеждам обманывать себя. Если вы в о о б щ е будете игнорировать слова невежд об искусстве, то и разного рода правительств-

венные манифесты и постановления об искусстве не будут иметь власти над вами, и следовательно, при тоталитарном режиме тиранам не так уж легко будет осуществлять свою "культурную политику".

Не верьте мифам о благополучном искусстве. Миф о радостно улыбающемся, приветливо плывущем в руки любому невежде искусстве равно оскорбителен и для невежды, и для искусства. Особенно современное искусство требует больших затрат труда и суммы знаний не только для созидания искусства, но и для понимания и восприятия его. Вряд ли можно найти произведение подлинного искусства, которое можно было бы "понять" или "не понять", или "охватить" с первого взгляда. Из всех мифов об искусстве миф о доступности — самый скверный. Ни теперь, ни прежде не было и не может быть "доступных" произведений. Не верьте мифам о "золотом веке" искусства у древних, равно как и об "упадке искусства", о "классической ясности стиля" какого-нибудь художника или поэта, счастливым образом удаленного от критика глыбами столетий или десятилетий.

Не верьте мифу о "классической ясности" искусства вообще — нет такой категории в жизни искусства людей, и существует она лишь в воображении вульгарной критики.

Искусство само по себе не заключает и не распространяет ни излучений "ясности", ни мрака "неясности". Категории эти на самом деле применимы не к искусству, но характеризуют тех, кто к нему пытается приблизиться. А вообще-то, искусство замкнуто в себе и ограничено самим собой; оно почти не допускает общения и, по правде говоря, никак не соотносится с реальной действительностью вещей. В известных пределах ситуация искусства безнадежна, как безнадежно ограничена ситуация земной жизни людей в пределах времени.

Здесь же мы вынуждены сказать, что чаще всего искусство непознаваемо. Это относится и к литературе, которой очень вредит то, что можно назвать "иллюзией понимания". Умение читать, складывая слова из букв, а стадией выше — следя

за фабулой литературного произведения, а еще стадией выше — "разбираясь в сюжете и образах", и далее — в "идеологии" и т.д. — не является гарантией подлинного понимания литературы. Такое понимание требует большой культуры мысли, привычки, опыта, интуиции, творческого соучастия, тренированной мысли, наконец — культурного опыта многих поколений. Это, конечно, не значит, что человек, не накопивший такого опыта, должен перестать читать: напротив, именно такой человек должен очень много читать и учиться — но ни в коем случае не учить других. Надо помнить всегда, что именно область литературы, и прежде всего поэзия, требует при восприятии больших усилий и творческого воображения, которое в той или иной степени присуще почти каждому человеку, но которое необходимо тренировать.

Не бойтесь сознаваться, что вам непонятно то или иное литературное произведение, но не обвиняйте в этом автора. Также нет и не может быть некоего обязательного "минимума" произведений, которые будто бы необходимо "знать". Нет ничего лживее и лицемернее такой дозированной аптечной "культурности". Нет никакой обязательной литературы, которую должны знать "все", нет и такой музыки или живописи. Сумма знаний культурного человека приобретается иным путем.

Если мы вернемся теперь еще раз к фразеологии о "золотом и серебряном веке" искусства, о его солнечных или мрачных временах и подумаем об этом серьезно, то неминуемо придем к мысли, что вся эта болтовня безобидна лишь на первый взгляд; на самом же деле она таит в себе немалое зло, и прежде всего, оскорбительна как для искусства, так и для аудитории, к которой обращена. Для искусства и его творцов нет солнечных времен, да и не должны они быть — жизнь не воскресная прогулка и не увеселительный балаган. Подлинные, серьезные художники молча работают, исполняя свой жизненный долг и не жалуясь на "плохие времена". К тому же часы и календарные сроки искусства не совпадают со сроками "реальной" жизни. Что же

касается "ясности", то и древнегреческие авторы, случалось, бывали неясны некоторым своим современникам, и латинских поэтов ссылали — отнюдь не по политическим соображениям, а более потому, что "неясность" их творчества порою заставляла тирана усомниться в своем умственном превосходстве. Теперь мы называем это "комплексом неполноценности".

Этот проклятый комплекс, отразившись в немалой степени на судьбе известного числа художников прошлого и настоящего, будет действовать и в будущем, так как мало оснований полагать, что люди значительно поумнеют.

Не веря мифам об искусстве "ясном" и "доступном", еще меньше верьте мифам об искусстве "неясном" и "недоступном". Искусство так же и в такой же степени недоступно, как недоступны альпийские снеговые вершины неальпинистам. Так же известно, что вершины можно достигнуть при помощи самолета.

* * *

Хорошо известно, что человеконенавистничество всегда идет рука об руку с уничтожением культуры. Всего четыре десятилетия отделяют нас от костров на улицах Берлина, от "Постановления о музыке" в России. Мы не устаем возмущаться вандализмом гитлеровцев, объявивших искусство Клее, Кандинского, Файнингера, Явленского "дегенеративным"; мы продолжаем употреблять это слово и родственные ему слова для обозначения любого непонятого нам явления в искусстве; мы не стесняемся вслед за тиранами объявлять художников дегенератами, хамами, недоумками, модернистами, авангардистами, слабоумными сочинителями головоломок (слова Гитлера о Клее) — все, что угодно, лишь бы не сознаваться в собственной несостоятельности и слабости. При этом мы не устаем возмущаться: мы возмущаемся вандализмом гитлеровцев, мы возмущаемся вандализмом Никиты Хрущева, Иосифа Сталина, Гая Калигулы, Домиция Нерона, Сигизмондо Малатесты, Ассаргадона, Вильгельма-Завоевателя, Герострата... Нет, мы ничему не научились...

И все-таки мне хочется верить, что зло недолговечно, что глупость людей исчерпает себя, что природа человека направляет его к поискам света. Но если это действительно так — не давайте увлечь себя назад, в потемки доисторических времен и каменного века. Люди ощупью идут к культуре, потому что подлинная культура сурова и порою безрадостна, как бывает безрадостна и сурова природа планеты, на которой мы обитаем. И так же, как природа не льстит нам и не мечтает быть нам приятной и услаждать нас, так же не льстит нам и искусство. Потому что искусство — часть природы, одна из ее величайших и почти непостижимых тайн. А мы знаем, что природа неохотно расстается со своими тайнами. Так что когда говорят о "доступности" искусства, имеют в виду, очевидно, не искусство, а рыночный дешевый товар, подкрашенную, подслащенную лжекультуру. Истинная культура имеет терпкий вкус. Еще чаще она горька.

Горек и труд художника. Обычно он не бывает оплачен, да и как и чем можно было бы его оплатить? Поэтому не посягайте ни на труд, ни на свободу художника — при всем вашем желании вы не можете вознаградить его, стало быть, не должны и наносить ему ущерба.

Мы должны помнить, что искусство — это не транспорт для передвижения социальных и политических "идей", "чувств". И не орудие для общественной борьбы (например, для вразумления тиранов).

Отнюдь нет. Наши социальные, гражданские, личные и иные права, равно как и права наших сограждан, мы обязаны неуклонно отстаивать, но при помощи совершенно иных институций и в иных сферах нашей жизни. Искусство же питается лишь своими идеями, а подлинная жизнь его протекает в других плоскостях и не соприкасается с так называемой гражданской жизнью общества. Искусство как рупор общественной жизни возможно на самых низких ступенях развития общества. Это младенческая пора социальной жизни. Подобно тому, как нелепа была бы попытка выразить свои удовольствия и неудовольствия, радости, огорчения, конфликты и прочее непосредственно

в сферах высшей математики, так же точно не годится для всего этого настоящая, подлинная литература, живопись и музыка, и недаром "чистое искусство" вызывает обычно такую яростную ненависть наиболее низко развитой части общества. Но разумеется, человек выражает при помощи высшей математики свою человеческую сущность так же, как отражают сущность человека литература, живопись и музыка. Но патетическая отповедь тирану или ему же панегирик в виде слащавого романа (оба жанра имеют одинаковую ценность: сегодня отповедь тирану, завтра панегирик хофмаршалу, послезавтра поэма на коронацию и т.д.), рифмованные излияния, пережевывающие чужие ритмы и рифмы столетней давности, — все эти словесные клише давно уже ничего не выражают и так же относятся к поэзии, как счет из прачечной — к математике.

Пора нам отказаться от этих младенческих игр. Пора нам понять, что не может искусство жить легкой жизнью клише и штампов, что пространство здесь завоевывается тяжелой работой художника, который шаг за шагом отвоевывает у природы ее тайны. Нет более трудной борьбы, чем поиски гармонии, и это — одна из вечных основ жизни искусства, один из главнейших его законов. Поиски эти совершаются отнюдь не для того, чтобы доставить кому-то удовольствие или другому — угодить: нет, так люди совершают свое назначение, выполняют свой важнейший долг перед человечеством, выстраивая сложное, хрупкое и прекрасное здание искусства, которое является не чем иным, как Второй Вселенной. Ритмы, пропорции, игра света и тени, чередование созвучий — все это не каприз и произвол художника, но тайная жизнь природы Вселенной, которая оживает, порою, в нас, в людях, самим нам не понятной тайной музыкой. И если одному из нас посчастливилось родиться носителем этой тайной, необъяснимой и непонятной музыки — пусть другие не мешают ему слушать и передавать людям эту музыку: в ней живут ритмы движения Вселенной, и приобщаясь к этим ритмам, мы, быть может, совершаем наше истинное земное назначение.

Земля, ветер, далекие светила разговаривают с нами на своем невнятном языке; их движение оживает в нашей крови, сообщая нам силу, пробуждая волю и надежду: мы смутно предчувствуем и ощущаем жизнь и движение других Вселенных, жизнь не кончается и не ограничивается пределами нашего мира, дыхание других миров, могучих и свободных, пробивается к нам, и улавливая их дальние сигналы, мы включаемся в живой, вечный ослепительный и неуловимый круговорот всеобщего. Наша личная человеческая судьба представляется нам частью этого Всеобщего, мы переживаем ее в этих вольных ритмах — так мы приходим к искусству, так приходит оно к людям: посланием восторга и освобождения.

Быть может, наше участие в ритмах Вселенной и есть то, что на нашем языке зовется целью жизни: соединить свой ритм, свое движение с движением тысячи миров, уловить тайну этой гармонии. Жизнь Вселенной, ее строение, создается в пределах строгих законов пропорций. Жизнь человека в искусстве — мучительные поиски этих пропорций, поиски основ жизни Вселенной; творя вторую жизнь нашего мира — искусство — создавая жизнь заново и по-другому, мы подчиняемся только этим законам, вырываясь далеко за грани нашего повседневного существования. Человек начал заниматься искусством не в результате междуплеменной, внутривозрожденной, такой или иной войны или борьбы: искусством человек запечатлел свой отпечаток во Вселенной, отдал себя миру и принял мир в свою душу, создав его образ вторично. Искусство создает новую Вселенную, которая оживает под нашими руками. Вселенную согретую присутствием человека, теплом его страдания. Эта Вселенная воздвигается перед ним как памятник присутствию нашему на Земле — память об удивительной способности людей творить доброе.

Человек начинает царапать на камне, водить кистью по бумаге или ткани, извлекать звуки из древесины, повинувшись далеким и тайным сигналам, которые пробиваются к нему сквозь толщу материков и световых лет, из глубины давно покинутых миров, давно оставленных планет и оцепеневших созвездий.

ОТ РЕДАКЦИИ

На этот раз под рубрикой "Из прошлого и настоящего" мы предлагаем читателям произведение довольно необычного жанра — воровские мемуары (точнее, отрывки из этих мемуаров). Они представляют собой документальную автобиографию, написанную бывшим вором "в законе", а ныне писателем, живущим в Париже и весьма известным на Западе — Михаилом Деминым*.

Публикуя это детективное и несколько сентиментальное повествование, редакция обращается к теме, до сих пор тщательно замалчиваемой в Советском Союзе, — жизни уголовного мира. Об этой жизни автор рассказывает со знанием дела и помимо деталей и конкретных событий дает ретроспективу преступного мира, его общую панораму, связи русской уголовщины с западной, его законы и контакты с миром внешним.

Таким образом, читателю предоставляется возможность познакомиться с этим подпольным государством в государстве, которое живет жизнью самостоятельной, но в то же время тесно связано с советской действительностью и во многом ею предопределено.

* Автобиографический роман Михаила Демина переведен на многие языки мира. В журнале "Время и мы" впервые публикуются на русском языке отрывки из этого документального повествования.

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Михаил ДЕМИН

БЛАТНОЙ



ПОДМОСКОВЬЕ

Детство и юность мои живописны, пестры, исполнены сочных бликов и ярких тонов.

Стоит только прикрыть глаза, на мгновение заслонить их ладонью, и тотчас же передо мной возникают подмосковные сосны — сквозная, синяя, прошитая солнцем хвоя, оранжевые стволы и белый песок...

Под шумящими этими соснами, в дачном поселке Кратово, прошли все мои ранние годы. Обширный наш поселок принадлежал Всероссийскому Обществу старых большевиков и политкаторжан; здесь жили семьи участников революции, ветеранов подполья и героев Гражданской войны.

Одним из организаторов этого общества был мой отец Евгений Андреевич Трифонов.

Я вижу его отчетливо, как живого. Вижу, как он улыбается, морща брови, поблескивая стеклышками пенсне; как грустит он и гневается (лицо его при этом твердеет, становится угловатым, словно бы вырубленным из камня). Вижу, как идет он по улицам поселка — размахисто, чуть косолапо, покавалерийски, плотно вбивая в пыль каблуки армейских сапог.

Кадровый офицер, он презирал штатскую одежду — все эти галстуки и пиджачки. Он всю жизнь носил военную форму. Только ее. И таким остался в моей памяти навечно: гимнастерка, орден Боевого Красного Знамени (у него был орден за номером 300), скрипучая портупея, кобура на ремне.

Поясной этот ремень — широкий, желтый, с металлической пряжкой, на которой поблескивала выпуклая звезда — пожалуй, запомнился мне сильнее всего. Отец нередко сек им меня, наказывал за провинности.

Тщедушный, маленький, лопоухий, я уходил после порки, держась обеими руками за саднящий, ноющий зад; на нем еще долго потом багровел отпечаток пятиконечной звезды.

Я уходил, преисполненный горя и обиды... Но, впрочем, долго обижаться на отца не мог: он ведь учил меня за дело. И говорил посмеиваясь:

— Провинился — терпи. Ты же казак!

И еще он говорил:

— Вообще, не бойся битья. Умей держать удар, принимай его без опаски. И уж если случится драка — не плачь, не беги. Отбивайся, как можешь. Хитрить в схватке можно — трусить нельзя.

— Чему ты учишь ребенка? — порою спрашивала его Ксения. Смуглая и хрупкая, эта женщина заменяла нам мать. Она была хорошей мачехой, относилась к нам с заботой, жалела и воспитывала нас, как могла.

— Разговоры о драках, о битье, по-моему, только портят малышей.

— Ничего, — отвечал отец, оглаживая ребром ладони рыжеватые свои, коротко подстриженные усы, — ничего. Когда-нибудь все это еще пригодится.

С этим периодом совпадают первые мои стихотворные опыты... Стихи почему-то получались у меня тогда на удивление мрачные, исполненные пафоса и сатанинской гордыни.

Одно из стихотворений случайно попало к отцу на глаза:

**Я шел сюда, чтоб выше быть
всех остальных людей,
Я никогда не мог забыть
тех славы полных дней.**

Подозрительно долго разглядывал отец мои каракули; я следил за его лицом. По мере чтения оно становилось все более жестким, угловатым...

О чем он размышлял? Что его так огорчило? Может быть, странное, несколько параноическое направление моих мыслей...

* * *

Мы с братом росли без матери; родители наши разошлись давно, в начале тридцатых годов. Мать вышла замуж за другого, жила где-то в Москве, и я ее плохо помню в этот период.

За годы, проведенные в Кратове, я видел мать всего лишь раза три.

Она приезжала не одна; ее сопровождал какой-то мужчина — молчаливый, высокий, причесанный на косой пробор.

Я смотрел на него, как смотрят на дерево — снизу вверх, запрокинув голову. Он казался мне непомерно большим и странно суженным кверху; громоздкое туловище, длинный пиджак и крошечная, гладко прилизанная голова...

— Шурик, — говорила мать, прижимаясь к нему, — не правда ли, прелестный пейзаж! — она улыбалась, и рот ее вздрагивал, и щеки лоснились от слез.

Об этих ее посещениях отец узнавал от своих друзей (он обычно возвращался из Москвы вечером, девятичасовой электричкой). Однажды я подслушал его разговор с соседом по даче — пожилым и грузным украинцем, работником военной прокуратуры.

— Была, говоришь? — спросил отец, тяжело облокачиваясь на штакетник. — С ним была, с этим?

— С ним, — кивнул сосед. И помолчал, разжигая трубку. — Слушай, Женя, мы с тобой старые друзья; знаем друг друга с девятьсот пятого года. Ты уж извини, брат... Но объясни мне: как ты все это допустил — с самого начала, а?

— А что я мог поделать?

— Почему ты его сразу — этого хлыща, этого пройдоху — не отвадил, не изломал на куски? Ну, когда он в первый раз появился. Я же знаю, как ты рубаешь.

— Так ведь то — в бою, — медленно, хрипло, с трудно сдерживаемым вздохом проговорил отец. — Тогда все было иначе... И в общем, если вдуматься, дело здесь не в нем, а в ней. В ней одной.

Так — постепенно, исподволь — я узнавал подробности о своих родителях. И если теперь собрать воедино все, что я услышал и понял, а затем и прочел, то получается история весьма романтическая... Итак — о моем отце.

* * *

Донской казак по происхождению, он с ранних лет покинул родную станицу, ушел в Ростов, бедовал там и бродяжничал. Некоторое время был связан с "серыми" — так именовались в старом Ростове слободские бандиты-налетчики — а затем примкнул к большевистскому подполью. Сблизиться с подпольем помог ему брат Валентин (также ушедший смолоду из станицы). В 1903 году Евгений Андреевич вступил в РСДРП. И спустя два года уже принимал участие в ростовском вооруженном восстании — командовал боевой дружиной на Темерникских баррикадах (в ту пору ему исполнилось двадцать лет). После разгрома восстания братья были схвачены и заточены в новочеркасскую военную тюрьму. Валентина сослали в Зауралье, в Тюмень, а Евгений (приговоренный к пятнадцати годам каторжных работ за убийство жандармского офицера) вместе с партией кандалников отправился по этапу в Восточную Сибирь.

Там, на каторге, он начал писать и стал поэтом. Он создал книгу стихов "Буйный хмель", впоследствии принесшую ему известность и оставшуюся в литературе, как своеобразный и, пожалуй, единственный в своем роде, образец тюремной и каторжной лирики начала нашего века. И сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о том, как много общего в наших с ним судьбах! Мои скитания тоже ведь начались на юге, на Дону, среди ростовских бродяг и уголовников. И по тем же самым каторжным пересылкам, по тем же этапам прошел я в

свое время! Одно и то же количество лет провели мы в тайге, и первый мой поэтический сборник, вышедший в Сибири, состоял в основном из стихов, написанных в заключении и в ссылке.

Свободу отцу принесла амнистия, объявленная в честь трехсотлетия Дома Романовых.

...Брат Валентин находился в подполье, вел партийную работу, а Евгений был уже на пути в Петроград. Здесь, в столице он с ходу включается в события. Становится начальником городской рабочей милиции, членом Главного штаба Красной гвардии. Затем входит в состав знаменитой "инициативной пятерки", подготовлявшей захват Зимнего дворца. А потом — после переворота — отправляется на фронт в качестве военного правительственного комиссара южно-русских областей.

Гражданская война, как известно, началась на юге России и, в первую очередь, охватила казачий Дон. Главнокомандующим Донской белой армией в ту пору (при атамане Краснове) был генерал Святослав Варлаамович Денисов (родной дядя моей матери). Красные казацкие части возглавлял мой отец.

Комиссар Трифонов и генерал Денисов столкнулись на поле боя, не ведая того, что вскоре им суждено будет, так сказать, породниться... Белая армия дрогнула, фронт откатился, город Новочеркасск, столицу всевеликого Войска Донского, прочно заняли большевики.

Штаб военного правительственного комиссара размещался в просторном особняке, принадлежавшем новочеркасскому нотариусу Владимиру Аполлоновичу Беляевскому.

К тому времени семья Беляевских уже начала рушиться; неожиданно скончались от сыпняка дочери Владимира Аполлоновича Варвара и Вера. Потом и сам он слег, разбитый параличом, и больше уже не поднялся.

Елизавета Варлаамовна, жена его (или, вернее, вдова) долгое время уютилась на чердаке своего собственного дома. Выселенная по приказу властей, она жила там с двумя оставшимися дочерьми — старшей Татьяной и младшей Ликой.

Так они жили, три эти женщины. А затем семью постиг новый удар. Осенью 1919 года внезапно сбежала из дома Лика; ее увез Евгений Андреевич Трифонов — ночью, тайком, на казачьей тачанке.

Событие это вызвало в Новочеркасске немалый переполох. Связь красного комиссара с дворянкой, племянницей самого Денисова, была скандальной и озадачила всех. И отец мой и мать — оба они как бы совершили отступничество, изменили классовым идеям эпохи. Именно потому им и нужна была тайна. Отец увез мою мать в степь, в родную станицу, и укрыл там на время: нужно было выждать, пока утихнет шум, улягутся людские толки...

В середине двадцатых годов отец переселился в Москву... Война отгремела, кончилась, но покоя не было ему и теперь. Да, в сущности, он и не искал покоя; профессиональный военный, он по-прежнему служил в армии, инспектировал войска. И одновременно занимался литературным творчеством — публиковал книги под псевдонимом Евгений Брежнев.

Всю жизнь свою тянулся он к литературе. Он не мог не писать — но писать было некогда; лишь урывками, изредка, брался он за перо. И все же в мирную эту пору им создано немало: биографический роман "Стучит рабочая кровь", пьеса "Четыре пролета", книги о Гражданской войне "Каленая тропа" и "В чаду костров". И во всех его произведениях (так же, как и в первом каторжном сборнике) видна судьба его, звучит его эпоха — кровавая, яростная и неповторимая.

Мать после бегства из дома утратила со своими родственниками почти всякую связь; Елизавета Варлаамовна прокляла ее в гневе и долго потом не могла простить. Встретились они уже в Москве — и ненадолго. В 1925 году после многих мытарств бабушка и тетя получили, наконец, долгожданную визу; выехали во Францию и остались в этой стране навсегда.

Я родился через год после их отъезда. Самые ранние мои младенческие воспоминания связаны сначала с Финляндией, а затем — с Москвой, но тут все непрочно и зыбко. Образ матери предстает как бы в тумане. А затем и вовсе тускнеет, удаляется, гаснет... Она ушла, бросила нас — как я уже гово-

рил — в начале тридцатых годов. И именно после этого отец женился на Ксении и переехал с нами в Кратово.

Вот я закрываю глаза, и опять мне видится далекое Подмоскovie. Косогоры, стога, одуванчики у дороги. Росяная, осыпанная бликами опушка бора. Оранжевые стволы и белый песок.

Я рос там, играл — строил песочные города — и не думал о переменах. Жизнь казалась мне безмятежной и прочной. И я не знал, не ведал, что она, по сути дела, вся держится на песке, что в любой момент она может рухнуть, развеяться — от внезапного ветра, от первого дуновения беды.

БЕДА

Лето 1937 года было знойным и ветреным. Пыльные смерчи крутились по улицам поселка, шумя и сшибаясь, раскачивались над крышами сосны. И высоко и пронзительно ныли телеграфные провода. И нередко по вечерам на поселок обрушивалась гроза. Звонящая пелена дождя возникала тогда за окнами нашего дома. И с каждым сполохом грозы темнота становилась все глубже и все плотней.

В один из таких вечеров отец явился домой с запозданием — усталый, вымокший и необычно угрюмый.

— Господи, — сказала Ксения, — что случилось? На тебе лица нет...

И потом, принимая из рук его тяжелую, сырую шинель:

— Ты ел что-нибудь?

— Н-нет, — ответил отец, — не хочется... Вот водки — выпью!

— Но что все-таки случилось?

— Арестован Валентин, — сказал, запинаясь отец. — Странные вещи творятся в Москве...

Голос его пресекся, он словно задохнулся на мгновение и сильно — торопливым движением — рванул тугие крючки воротника.

Я долго не мог уснуть, сквозь неплотно притворенную

дверь сочился свет, доносились всхлипывания Ксени, тревожные, приглушенные голоса.

Именно тогда впервые услышал я слово "террор".

— Понимаешь, я был в академии, готовился к докладу, — рассказывал отец. — И вдруг звонок. Насчет Валентина... Ну, я сразу — в ЦК. А там говорят: ваш брат оказался врагом...

— Но как же так? — удивилась Ксения, — какой же он враг? Известный революционер, крупный дипломат. Живет в Доме Правительства...

— Дом Правительства, — протяжно сказал отец. — Этот дом уже наполовину пустой... Взяли не только Валентина, взяли многих! Такого террора страна еще не знала.

— Но почему, почему, — не унималась Ксения. — Откуда это идет?

— Сверху, конечно.

— Погоди. Ты говоришь — сверху. Но ведь арестовывают как раз тех, кто принадлежит к самой верхушке...

— Есть еще политбюро, — жестко выговорил отец, — есть Сталин.

— Сталин, кажется, знаком с Валентином? Неужели же он не верит...

— Он, вообще, не верит никому. И это самое чудовищное. Никому и ничему! И особенно преследует тех, кого знает лично.

— Господи, — забормотала Ксения. — Кто же он, этот Сталин, — внезапно и звонко спросила она, — сумасшедший, злодей? Кто?

— Не шуми, — сказал отец. — Не знаю. Ничего не знаю... Но все, как видишь, идет к одному... Если террор не прекратится — наступит и моя очередь, это ясно. Рано или поздно доберутся, возьмут. Да иначе и быть не может... Что я — хуже других?!

Вдруг он встал, заспешил и, пройдя на цыпочках по коридору, набросил на плечи шинель.

— К Никифорову зайду. Хочу поговорить насчет Валентина, он, по-моему, в Бутырках находится. А комендант Бутырской тюрьмы — старый друг Никифорова, понимаешь?

Они вместе в ЧОНе служили... Зайду, попрошу, пусть узнает что-нибудь, справки наведет...

* * *

О судьбе Валентина отец так и не смог ничего узнать; старший брат его исчез бесследно — и навсегда.

Отец мой метался по Москве и чувствовал себя, как в пустыне. Он был в опале. Это знали все. Дела его были нехороши, будущее — туманно...

С тех пор началась у нас странная жизнь — тревожная, призрачная, бессонная.

Все ночи отец теперь проводил в своем кабинете, курил и расхаживал, поскрипывая сапогами.

А поселок медленно угасал. Волна арестов катилась по Кратову — захлестывала дома, затопляла их тьмою.

Она все ближе подступала к нам. Все меньше оставалось в ночи светящихся окон...

И наконец, настала очередь отца. Нет, он не был арестован, он умер сам, от инфаркта (тогда это называлось "удар").

Всю жизнь он носил военную форму, только ее. И умер в ней, принял удар, как в строю, как на поле боя.

После похорон отца кратовская наша сзмя распалась. Ксения заболела, слегла, она так и не смогла оправиться от потрясения и в общем пережила его не намного.

Мне вспоминается первый наш вечер по приезде в Москву: слезы матери, потускневшее ее лицо, невнятные, путаные слова.

— Лес рубят — щепки летят, — говорит она, — вот мы и есть такие щепки! — она говорит это, расхаживая по комнате, зябко кутаясь в мохнатую шаль. — Все рухнуло, прахом пошло... Никого не осталось... Тот самый Шура — помните, с которым я приезжала в Кратово, — тоже исчез. Он теперь за границей, в Америке. Стал невозвращенцем. Бросил меня одну. А что я — одна — могу? Как жить дальше, как вас кормить? Не знаю, не знаю. Разве что пойти на службу? Но это опасно — из-за анкеты. Придется объяснять все подробно... Да и куда идти?

— она горестно всплескивает руками. — Я ведь ничего не умею, не знаю...

И еще мне видится вечер — зимний, долгий, томительный.

Примостясь у окна, я листаю толстый том Вазари — коро-таю время в тишине. Я в квартире один. Брат где-то шляется (последнее время он часто стал пропадать из дому), а матери уже нет здесь: она живет теперь в другом месте, у своего нового мужа.

Я скучаю, трещу страницами, уныло поглядываю в окошко. Уже поздно. Заиндевелые стекла залиты плотной морозною синевой; там, в клубящейся мгле, громоздятся московские крыши — белые изломы и острые углы, заиндевелые шпили башен, ватные дымки над трубами.

Внезапно в дверь стучат. "Наверное, Андрюшка, — думаю я, — а может, мама? Что-то она совсем нас забыла, который день не появляется..."

Топоча, врываюсь я в прихожую, отмыкаю дверь — и вижу перед собой чужого, незнакомого человека.

Сняв шапку, отряхивая ее от снега, он ступает через порог и вежливо осведомляется, можно ли увидеть Елизавету Владимировну.

Я объясняю, что ее нет, что она живет по другому адресу.

— Вы что, — мамин друг? — спрашиваю я затем.

— В общем да, — говорит он, — да, конечно. Но главным образом я друг того дяди, который жил здесь раньше. Ты его, надеюсь, хорошо помнишь?

— Да не особенно, — отвечаю я медленно, — видел когда-то... Давно уже... Но его ведь тоже нет!

— Знаю, — вздыхает незнакомец, — знаю, что нет.

Сухолицый и подвижный, он оттесняет меня, проходит в комнату и усаживается там, плотно скрипнув стулом.

— Его нет, зато остались все мы — старые его друзья. А дружба, брат, это великая вещь! Я, например, частенько его вспоминаю. И другие, наверное, тоже?..

Он внимательно смотрит на меня — улыбается, щурясь.

— После его отъезда кто-нибудь навещал вас, приходил к маме, беседовал о нем, а?

Я молча пожимаю плечами. Разминая пальцами папиросу, гость подбадривает:

— Не бойся, чудака, говори. Ну! Что же ты? Ведь было же много общих друзей. Вот, к примеру, Анисимов...

Он называет еще несколько фамилий, все они мне не знакомы, и я об этом так и заявляю.

— Ну, а письма, — спрашивает он погодя, — какие-нибудь записки, послания, — приходили от него? Я почему спрашиваю? Просто любопытно, как он там, в Америке, что с ним... Неужто он за все это время так ничего о себе и не написал? Не подал ни единой весточки?

— Не знаю, — говорю я, — поинтересуйтесь у матери... Она, я уже объяснял, живет не здесь.

— Н-ну, спасибо, — произносит он, вставая. — Обязательно поинтересуюсь... Она что же, бывает у вас не часто?

— Да как когда, — отвечаю я с мгновенной и острой обидой, — иногда по неделям исчезает. Ждешь ее, ждешь...

— Ай-ай-ай, — он кладет мне на голову сухую жесткую ладонь. — Что же это она? Нехорошо. Такие отличные ребята... Ты ведь учишься?

— А как же, — говорю я. И добавляю с гордостью. — В художественной школе имени Репина.

— Хочешь быть художником?

— Ага.

— А брат?

— Он еще не решил... Его вообще-то путешествия увлекают.

— Ну вот, — бормочет он, — ну вот. Отличные ребята.

Гость идет к дверям. И вдруг, помедлив, вполоборота:

— Как же вы, все-таки, тут живете? Кто вам хоть готовит? Неужели сами?

— Да нет... К нам домработница приходит.

— Домработница? — он задумывается на миг, сужает глаза.

— Ее как звать?

— Настя.

— Настя, — повторяет он, — так. А фамилия?

— Не знаю.

— Что же это ты, брат? — скупно улыбается гость, — о чем тебя не спроси — ничего ты не знаешь. Кто в доме бывал, не знаешь. Насчет писем — тоже. А еще в художники метишь! Человек искусства должен быть наблюдательным, должен подмечать любую мелочь.

Я прощаюсь с ним. И долго потом не могу разобраться в своих ощущениях. Нежданный этот посетитель мне кажется странным, что-то есть в нем занятное, необычное и вместе с тем — отталкивающее, вызывающее инстинктивную настороженность.

Так в первый раз — в двенадцатилетнем возрасте — встречаюсь я со следователем и узнаю, что такое допрос!

* * *

Время мчится стремительно и неудержимо, мелькают дни, чередуются даты. И вот уже мне — шестнадцать!

Грохочет война.

Столица затемнена, охвачена паникой, голодом и огнем... Школа моя эвакуировалась, но занятия я все же не прекращаю. Теперь я хожу в мастерскую Дмитрия Стахивевича Мора, известного советского графика. Он немолод и нездоров. Но по-прежнему энергичен. Работает день и ночь. Выполняет срочные заказы Воениздата, рисует для Окон ТАССа.

Я помогаю ему, как могу, — но в основном, приглядываюсь, учусь. Постигаю законы рисунка, тайны линии и пятна. Иногда, в минуты передышки, он беседует со мной о смысле искусства.

— Живопись, это роскошь, — говорит он, похрипывая одышкой, — графика — необходимость. В этом вся суть. Графика служит людям непосредственно и повседневно. Любой из окружающих нас предметов сотворен при ее помощи. Мы придаем вещам красоту, упорядочиваем этот мир. Он хаотичен, неустроен и плох... Чем бы он был без нас?

Мир неустроен и плох — старик прав! И я это знаю тоже. Знаю по личному опыту.

Вся моя короткая жизнь состоит из бед и потерь. Из одних

лишь потерь. Я размышляю об этом, держа в руках извещение о гибели Андрея.

Он ушел на фронт в самом начале войны и вот — погиб. Погиб почти сразу, в первом же своем бою. "Пал смертью храбрых" — так указано в официальном этом письме.

Строчки рябят и туманятся в моих глазах... Я порывисто сминая бланк. Потом, спохватившись, разглаживаю его, расправляю. И, аккуратно сложив, прячу в боковой карман пиджака.

Теперь я один. Совсем один в этом мире. Он неустроен и плох и вряд ли когда-нибудь станет лучше...

Тягучий вой сирены вспыхивает за окном — начинается воздушная тревога. Я выключаю свет и отдергиваю оконную штору. Передо мной в клубящейся мгле громоздятся московские крыши. Теперь они черны, обуглены, обгажены пожарами. Хлопья пепла кружатся над ними. И в вышине, рассекая ночь, маячат четкие кресты прожекторов.

В 1942 году я получил повестку с приказом явиться на работу на авиационный завод. Получил и выбросил, забыл о ней. А забывать было нельзя. В ту пору уже действовал знаменитый закон о всеобщей и обязательной трудовой повинности. И нарушение его (как впрочем, и всех законов военного времени) каралось арестом.

Через месяц после ареста меня судили. И приговорив к двум годам лишения свободы, отправили в местный московский лагерь.

В КАМЕРЕ

Станным и жутким показался мне первый этот концлагерь. Никогда потом за всю свою жизнь не встречал я ничего похожего.

Дело в том, что лагеря как такового не было: была своеобразная каторжная тюрьма, расположенная в здании Краснопресненского литейного завода.

Заключенные жили тут, лишенные прогулок и свежего

воздуха, лишённые неба. Вместо неба над головами нависали прокопченные каменные своды. Люди были окружены этим камнем, отрезаны им от мира, погребены под ним.

Здесь, в удушающем зное, в угарном смраде и пыли, кипела отчаянная работа: варился металл, отливались армейские мины, формовались заготовки для оружейных деталей.

Работа была тяжелой и изнурительной. Я приноровился к ней не скоро. Но все же постепенно освоился, по привычке: заключенный, в конце концов, приспособливается ко всему.

Гораздо труднее мне было освоиться с людьми.

В нашей камере народ подобрался весьма разношерстный. Помимо "политических" и всякого рода "бытовиков" (таких же, в принципе, как и я сам), немало было блатных.

Блатные держались обособленно, замкнуто и занимали отдельный, самый дальний от входа, угол. Тут же, около них, ютилась и молодежь: беспризорники, шпана, начинающее ворье.

Молодая эта поросль встретила меня недружелюбно и насмешливо. В ее глазах я был чужаком, фраером, "фаршированным оленем" — так в воровской среде называют интеллигентов.

Верховодили шпаной и задавали ей тон двое парней. Один из них, по кличке Малыш, был высок, костляв и, видимо, очень силен. Другой, Гундосый, являл собою полную его противоположность — низкорослый, вертлявый, с нечистой кожей и рассеченной заячьей губой, он имел весьма мерзкий вид... Движения его были суетливы, речь — нечеткой и шепелявой. И когда он говорил, в углах его рта постоянно пузырилась клейкая слюна.

Вот этот парень стал моим главным врагом.

Едва я появился в камере, он подозвал меня, осмотрел ухмыляясь, с ног до головы. И затем сказал, кривясь и пришепетывая:

— За что тебя?

— Да ни за что... По указу.

— Понятно. — Он помолчал. — Ну и как — боязно?

— Н-нет, — сказал я тоскливо, — чего это мне бояться?

— Правильно, — хихикнул он. — Здесь такие же люди, как и на воле. — Ты ведь паренек веселый — так?

— Ага

— Ну, раз веселый — давай играть!

Мне было тогда не до игр. Но разве мог я, воодушевленный похвалой, отказать ему в пустяшной этой просьбе? Он предложил поиграть в чехарду, и я согласился нехотя.

— Нагибайся, — сказал он. Разбежался и прыгнул. И оседлал меня, гогоча.

Удивленный и разгневанный, я попытался сбросить его со спины. Но — безуспешно. Гундосый держался цепко.

— Вези, — приказал он. И больно ударил меня ногою. — А ну? Кому говорят?!

"Что же делать? — думал я, дрожа и озираясь, и видя вокруг одни лишь хохочущие, глумливые рожи, — что делать?"

Впоследствии, повзрослев, я научился, как надо поступать, если кто-то набрасывается сзади: прием этот страшный. Нередко он бывает смертельным. Противника схватывают за ноги и опрокидываются с ним навзничь, на спину — давя его всей тяжестью тела... Я многому научился впоследствии. Однако в тот момент я был беспомощен и растерян, и слаб. Постыдно слаб.

— Вези! — брызжа слюной, повторил Гундосый.

В голосе его зазвучали истеричные, угрожающие нотки... И я повез его. Дотащил до противоположного конца камеры, и потом — обратно. И еще раз. И еще.

И когда меня, наконец, оставили в покое, я добрел, пошатываясь до нар, рухнул на них и долго там лежал, задыхаясь от обиды и отчаяния.

Достоевский сказал однажды: "Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе". Не знаю, прав ли он. Во всяком случае, я пишу без стыда, с полной беспощадностью к себе. Пишу для того, чтобы как можно достовернее воссоздать минувшее. Воссоздать все те

обстоятельства, которые впервые привели меня к мысли о насилии, об убийстве, о мести.

Сладостная эта мысль родилась и окрепла не сразу. Ей предшествовал целый ряд подобных случаев.

Последняя пакость Гундосого была связана с хлебом.

Я уже упоминал о том, что лагерь наш был особый, не похожий на другие. Кормили здесь тоже весьма оригинально. Главным приварком являлась гречиха; из нее делали каши, готовили супы. Ее можно было получать в столовой сколько угодно, в любом количестве. И все же мы голодали. Голодали мучительно, свирепо, непрерывно.

Роскошная эта крупа была несъедобной.

Гречиха шла в пищу неочищенной, необработанной, в скорлупе. Ее нельзя было переваривать. И поэтому зэки пробавлялись, в основном, кипятком и хлебом.

Пятисотграммовую рабочую пайку здесь выдавали по частям: триста граммов утром и двести — во время ужина... По примеру многих я уносил вечернюю порцию с собой и съедал ее в камере — на нарах.

И вот однажды, незаметно подкравшись сзади, Гундосый толкнул меня и вышиб пайку из рук. Она упала и покатила по цементному заплеванному полу... Я торопливо присел и потянулся за хлебом, и в этот момент Гундосый с размаху ударил меня по пальцам кованым каблуком сапога.

— Поиграемся теперь в эту игру, — сказал он хихикая, — попробуй-ка еще разок... Возьми. Ну?

С минуту я сидел на полу, оторопев и скорчившись от боли. Потом поднялся, постанывая. И вдруг кинулся на своего врага.

Я кинулся, простирая к нему уцелевшую левую руку — целясь в это ненавистное лицо, в мутные глаза, в слюнявый пакостный рот.

Однако добраться до него я так и не успел, меня перехватил Малыш. Уцепил за плечо — рванул к себе. И в следующую минуту я получил ослепляющий, хлесткий удар. Не знаю, чем бы это все кончилось. Но тут вмешались старшие.

Из угла, где размещались блатные, появился высокий, темноволосый мужчина в распахнутом ватнике и тельняшке.

— Об чем шум? — спросил он приблизившись.

— Да так, — завертелся Гундосый, — играем...

— Только не заигрывайтесь, — веско сказал блатной. — Ясно?

Он посмотрел на меня, на хлеб, валявшийся у ног. И повернувшись к Гундосому, добавил, грозя корявым пальцем:

— Пайку не трожьте! Даже помыслить не смейте! Помните закон. И вообще, оставьте-ка этого мальчика в покое. Что вы к нему прискребаетесь?

На следующий день я разыскал в цеху небольшую узкую пластинку металла и старательно, тайком от всех, смастерил из нее нож.

* * *

Я намеревался расправиться с Гундосым немедленно, этой же ночью. Но не успел — помешала воздушная тревога.

Она началась сразу же после отбоя. И продолжалась на этот раз долго.

Охранники (как всегда, в таких случаях) поспешно замкнули все двери, отключили свет и ушли — схоронились в бомбоубежище. Мы остались во тьме, заперти, в полнейшей изоляции.

Где-то торопливо били, захлебываясь, зенитки. Трещало пламя. Поминутно ухали гулкие взрывы; судя по ним, немецкие бомбардировщики прорывались к Красной Пресне — к нашему району.

— Сволочи, ах, сволочи, — доносилось до меня гнусавое бормотание, — заперли, сбежали. А если прямое попадание, тогда как? Если ударит в самый завод — куда нам деваться? Мы же тут, как в склепе. Замурованы. Похоронены заранее, наверняка...

"Гундосый, — догадался я. И ощутил вдруг неизъяснимое торжество. — Боишься, ублюдок. Боишься, трус. Смерти боишься!"

Сам я, как это ни странно, почти не испытывал сейчас обычного своего страха перед бомбежкой. Я думал о мщении. Мысль эта как бы окрыляла меня, поддерживала и оттесняла все прочие мысли.

Я уже не был прежним мальчиком, приучался к жестокости.

ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ

Минуло еще трое суток.

Я выжидал, готовился, был по-зверинному настрожен и терпелив. И наконец мой час настал!

В полночь, когда в камере все уже спали, спали надежно и глубоко, я поднялся с нар, извлек из тайника свой ножик. И пригибаясь, стараясь не шуметь, двинулся в дальний угол к блатным.

Я был уже возле Гундосого — у самого его изголовья — когда меня охватил вдруг панический страх. "Что я делаю? — мелькнула мысль, — и что потом со мною будет?"

Странная болезненная истома овладела мною, ноги обмякли, сделались ватными, ладони взмокли от пота.

Неожиданно проснулся лежавший рядом с Гундосым Малыш; завозился и зевнул тягуче. И приподнялся, опираясь на локоть.

Взгляды наши пересеклись.

Он поглядел на меня туманно и немо — еще не очнувшись окончательно, и с трудом отделяя явь от сна. Затем перевел взгляд. И заметил в руке моей узкий, тускло и хищно поблескивающий нож.

Глаза его приняли осмысленное выражение. Лицо напряглось. И тотчас же — перегнувшись через Гундосого — он поддался ко мне и стремительно схватил за ворот рубашки.

Я знал его хватку. Знал, сколь опасна эта костлявая пятерня. И не медля — с силой — полоснул по ней отточенным лезвием.

Малыш вскрикнул, отдернул руку и выругался хрипло.

Удар был хорош! Нож рассек ему кисть глубоко и косо. Тугая черная струя крови хлынула на нары и залила лицо Гундосого.

Тот вскочил, вопя и размазывая кровь по лицу. Заметался по нарам... Затем ошалело ринулся к дверям.

Минуту спустя загремел замок. Угрюмый заспанный надзиратель спросил с порога:

— Чего надо?

— Там... трясась и тыча пальцем в глубину камеры, лопотал Гундосый, — там...

— Что "там"? Ты толком говори.

— Н-не знаю.

— Не знаешь? — медленно проговорил надзиратель, изучая его лицо. — А кроввица откуда? Вы что, оглоеды, уж не резнули затеяли?

— Да нет, гражданин начальник, какая резня? — испуганно засуетился Гундосый, — это кровь — из носа. Сама пошла...

— Так чего же ты стучишь?

— Хотел лекарство попросить...

— Какое же может быть лекарство ночью? — хмуро отозвался надзиратель. — Ты что, ополоумел? Давай, утирайся и спи! А то я тебе такое лекарство пропишу — десять лет помнить будешь.

— Это, конечно, — поспешно согласился Гундосый, — да вы, гражданин начальник, не сомневайтесь. Тут у нас порядок.

Он уже успокоился, немного пришел в себя и теперь, по мере сил, старался исправить свою оплошность... Но было поздно.

С точки зрения уголовников, поступок его был недопустимым, непросительным — блатные не могут искать защиты у надзирателей. И в сущности после этого случая Гундосый

кончился, погиб; воровская карьера его рухнула бесповоротно.

Вскоре Малыш перебрался на другие нары и таким образом окончательно порвал со старым своим другом. Зато ко мне он проникся вдруг странной приятностью.

— А ты чумовой, — заявил он на утро, встретившись со мной в столовой, — решительный... Скажи-ка: если бы я тебя тогда не засек — зарезал бы его?

— Вероятно, — пожал я плечом.

— Зарезал бы, — уверенно и благодушно сказал Малыш. — Я твою морду видел — знаю! Конечно, зарезал бы. А может... — он прижмурил глаза. — Может, заодно — и меня, а?

Я уже начал улавливать, постигать специфику этого мира. И потому ответил небрежно:

— Если бы понадобилось — запросто.

— Молодец, — захохотал Малыш. И похлопал меня по спине забинтованной рукой. — Так и дыши... Нет, ты действительно — чума!

С тех самых пор и осталась, навсегда прилипла ко мне шальная эта кличка — "Чума".

В воровской среде кличка как бы заменяет визитную карточку. Обладатель такой карточки — личность уже не простая, заметная, имеющая в обществе определенный вес.

Так, одним ударом — одним коротким взмахом ножа — я изменил свою лагерную судьбу.

Жизнь понемногу прояснялась, становилась все более сносной. Казалось, основные беды кончились, миновали... Но это только казалось!

ПОД ГРОМ САЛЮТА

Как-то раз — это было зимой, во время утренней проверки — я почувствовал вдруг недомогание, жаркий озноб, противную сухость во рту. Стало трудно дышать. В груди моей и спине при каждом вздохе возникала сверлящая, пронзительная боль.

Пришел врач (по лагерному "лепила"). Торопливо обстукал и выслушал меня. Сунул подмышку мне градусник и потом, посмотрев на него, уныло поднял брови.

— Придется госпитализировать, — сказал он надзирателю. Вероятно, плеврит. Если я, конечно, не ошибаюсь...

Он не ошибся, этот лепила! У меня и действительно оказался двухсторонний экссудативный плеврит — болезнь затяжная и скверная.

И вскоре меня перевели в Бутырскую центральную тюремную больницу.

Болел я долго и тяжело. Плеврит мой вылечили к весне, но я по-прежнему был плох и почти не вставал с постели. Я лежал, дыша осторожно и трудно, и часами с тоскою разглядывал беленый, испятнанный сыростью потолок.

За окном в вышине серело дымное ветреное небо. Иногда по вечерам в небе вспыхивали победные салюты.

Я все время лежал в забытьи; не хотелось ни говорить, ни двигаться. И, как это ни странно, почти совсем не хотелось есть.

По сравнению с тем, что давали в лагере, больничная кухня выглядела поистине княжеской! Обед состоял из трех блюд. (Я получал особую усиленную норму для тяжелобольных). На третье выдавали компот, его я и пил в основном. Остальное, урча и отдуваясь, торопливо приканчивал мой сосед — старый карманный вор Архангел. Он подчищал за мной блюда старательно и регулярно. Но однажды скорбно сказал:

— Тебя, конечно, мне сам господь Бог послал. Но все-таки, ежели подумать, жалко тебя! Ты ведь так не протянешь долго. Загнешься. Отбросишь копыта.

— Да? — я улыбнулся слабо. — Ну и что?

— Как, что? — рассердился он, — как то есть, что? Пока есть возможность — пользуйся, кормись... Шевели рогами!

— Не хочу, — проговорил я сонно, — не хочу шевелить... Я отвернулся и задремал, накрывшись с головой одеялом.

Разбудил меня врачебный обход. Открыв глаза, я увидел над собой людей в белых халатах: один из них — низенький, одутловатый, в мягких старческих морщинах — спросил, глядя куда-то вбок:

— Ничего, говоришь, не ест?

И голос Архангела ответил тотчас же:

— Видит Бог, гражданин доктор. Только компот сосет. Да еще — чаек. Ну и передачи — кое-когда. И все! Догорает парнишка, на глазах доходит.

— А ты, значит, все это время за двоих старался, — усмехнулся врач. — И помалкивал...

— Так ведь сказал же, — с обидою возразил Архангел, — сам сказал!

Врач присел ко мне на кровать, пощупал пульс и ловко, привычным жестом, вывернул мне веки.

— М-да, — пробормотал он, — собственно говоря, этого давно следовало ожидать.

До меня долетали отрывки приглушенных фраз: "...пеллагра", "потеря жизненных сил", "подлежит активровке".

Когда обход кончился, Архангел сказал:

— Хорошая карта тебе выпала, шкет. Хорошая карта! Если уж они заговорили об активровке — дело верное. Пойдешь на свободу! Ну, а я...

Он умолк. Опустил брови. И потом добавил, кривясь:

— А я тут буду гнить. Разве это справедливо?

* * *

Через неделю я был вызван на врачебную комиссию. Осматривало меня, на этот раз, много людей. И опять услышал я непонятное и пугающее слово: "пеллагра".

А затем, на исходе апреля, мне было объявлено о том, что я "сактирован" — досрочно освобожден из-под стражи в связи с болезнью и потерей трудоспособности.

Я выслушал эту новость в тюремной канцелярии. Начальник зачитал вслух приказ о моем освобождении, потом сунул мне какие-то бумаги, я должен был прочесть их и расписаться.

Наступил долгожданный миг свободы. Я думал, что будут какие-нибудь новые процедуры, дополнительные сложности — но нет, все получилось на удивление легко и буднично.

Вахтер молча сверился со списком, затем отворил стальные клепаные ворота, пропустил меня и захлопнул их с тяжелым грохотом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Добрался я до дому уже поздним вечером — в потемках. Погода к ночи испортилась. Вспыхнул ветер. Упругий, пахнущий тальм снежком, он настиг меня в двух шагах от подъезда. Пошатываясь, цепляясь за стену дома, я с трудом преодолел последние метры пути. Вошел в знакомый подъезд — и лицом к лицу столкнулся с матерью.

...Когда утих первый взрыв эмоций, она сказала, утирая платочком взмокшие от слез ресницы и щеки:

— Я уж думала, с тобой что-то случилось по дороге. Хотела разыскивать.

— А ты разве знала? — изумился я. — Они ведь ничего зараннее не сообщают.

— Я сегодня как раз звонила туда.

— Вот как? Туда можно звонить? Это что же — всем разрешается?

— Ну, насчет всех не знаю, — бегло улыбнулась она. — Мне этот звонок один знакомый устроил... Из Министерства. Я хотела справиться о твоём здоровье и заодно узнать, можно ли принести в передаче немного крымского кагору... Кагор очень полезное вино — лекарственное.

Насчет моей матери я, вообще говоря, никогда не испытывал ни малейших иллюзий. Но одно ее качество я все же должен здесь отметить. Передачи в тюрьму она приносила мне добросовестно и в любую погоду. Подумать только: в военной Москве — голодной, выстывшей и обнищавшей — она ухитрялась находить молоко и фрукты. И даже крымский "лекарственный" кагор!

Я подумал с горечью о том, что раньше, когда я был на воле, она никогда так не заботилась обо мне, не хотела сделать ни одного лишнего шага...

Понадобилось многое, чтобы она вспомнила о своих обязанностях, вспомнила о доброте!

Мы стояли возле кабины лифта. Я потрогал дверцу — спросил:

— Работает?

— Что ты, — ответила она, — какие теперь лифты! Ты прямо как с луны свалился.

— Именно — с луны, — пробормотал я. — По блатным поверьям, если человек умирает — он отправляется на луну... Я, в сущности, там уже и был. И спасся чудом.

— Ну и слава Богу, — сказала она. — А теперь пойдём! Ты что-то плохо выглядишь. Тебе надо лечь, — и потом, поднимаясь впереди меня по темной, замызанной лестнице, добавила, — в квартире кое-какие перемены. Так что не удивляйся. Там еще одна семья живет.

— Значит, уплотнили, — сказал я, — так. И большая семья?

— Да не малая. Какой-то тип со своей матерью, с женой и маленькой дочкой.

— Кто ж он такой?

— Не знаю. Зовут его Петр Яковлевич Ягудас. Судя по всему, хохол. А по профессии — жулик. Явный жулик! Ходит в военном, носит звание майора, а к армейским делам никакого отношения не имеет, занимается Бог знает чем.

— Чем же, все-таки?

— Какими-то темными махинациями... Да ты сам увидишь. И все поймешь, теперь ты в этом должен хорошо разбираться.

* * *

Я о многом размышлял в ту пору — о себе, об окружающем мире. Чем больше я приглядывался к миру, тем отчетливее убеждался в том, что он нечист и лишен справедливости. Он создан не для слабых людей, в нем царят все те же уголовные правила, свирепые, низменные, лагерные законы.

Времени для всех этих мыслей у меня было достаточно. Я жил тогда в одиночестве. Друзей и знакомых не было. Родственники почти все находились в эвакуации, далеко от Моск-

вы. А мать, походив ко мне с недельку и успокоившись, опять, как обычно, исчезла и занялась своими делами.

Я отлеживался в одиночестве, поправлялся, рылся в книгах, размышлял о прожитом, сочинял стихи.

С семьей Ягудаса я почти не общался.

Как-то поздним вечером (я уже раздевался — готовился ко сну) в дверь постучали.

В полутемной прихожей стоял почтальон. Он извлек из сумки плотный белый конверт, протянул его мне и сказал:

— Распишитесь в получении!

— Что это? — спросил я озадаченно.

— Повестка из военкомата.

ПОБЕГ

Из армии я вернулся повзрослевший, грубоватый, окрепший... Увидев меня, мать всплеснула руками:

— Ты стал совсем, как отец, — сказала она, — та же походка, тот же взгляд. Только вот боевых наград не выслужил.

— Не повезло, — отшутился я.

— Скорее всего, наоборот — повезло! — возразила она серьезно, — могло ведь так случиться, как с Андреем. Его, ты знаешь, наградили... Посмертно...

И затем, помедлив, спросила:

— Что же ты теперь собираешься делать? Будешь учиться? Или работать где-нибудь?

— И то и другое, — сказал я.

— Правильно, — одобрила она, — пора становиться на ноги по-настоящему! О тебе, кстати, все время вспоминает Дмитрий Стахиевич Моор. Сходи к нему непременно. Он теперь лауреат Сталинской премии, член правления Союза художников. Словом, человек большой — посодействует!

С помощью старого моего учителя я вскоре поступил на работу в рекламный отдел автомобильного завода имени Сталина (ныне он завод Лихачева). И тогда же стал посещать студию изобразительных искусств ВЦСПС, где преподавали,

помимо Моора, такие мастера, как Алякринский, Ряжский, Юон.

Все вроде бы складывалось благополучно. После многих бед и мытарств жизнь начала, наконец, входить в берега.

Работа хоть и была скучновата, но все же устраивала меня (я занимался цветными рекламными каталогами, предназначенными для Америки), учеба в студии шла вполне успешно. На выставке зачетных работ по классу иллюстративно-плакатной графики несколько моих эстампов были одобрены художественным советом и замечены критикой. Одну из акварелей, изображавшую салют, — россыпь ярких огней по синему полю — приобрела за хорошую цену дирекция Трехгорного текстильного комбината. И спустя некоторое время в продаже появилась нарядная, сделанная по моему рисунку, ткань.

Одновременно с этим я получил издательский заказ — первый в своей жизни и довольно крупный профессиональный заказ — на серию иллюстраций к сборнику известного фольклориста и сказочника Афанасьева.

— В люди выходишь, — уважительно и чуточку ревниво заявил мне молодой художник Алеша Крайнов, служивший тоже в рекламном отделе. — Половина Москвы в твоих ситуациях ходит, отовсюду заказы.

С ним и еще с одним рисовальщиком — худым и носатым Давидом Гатлобером — я сдружился сразу же, как только поступил на службу. Нас сблизили общие интересы, общие планы. Да и в прошлом у нас тоже было немало сходного.

Так же, как и я, оба эти парня испытали на себе тяготы сталинских репрессий (Давид потерял в тридцать девятом году брата, Алексей — близких родственников). И оба недавно демобилизовались из армии. Будучи старше меня, они успели понюхать пороху, прошли с войсками по всей Европе и повидали иную, вольную жизнь. И теперь, беседуя со мною, друзья частенько вспоминали виденное, вспоминали и сравнивали с окружающим нас бытом.

В разговорах такого рода я почти не участвовал — размышлял о другом, искусство занимало меня куда больше. В экономике я разбирался слабо, политики чурался, избегал ее, она

казалась мне делом темным и низменным, не стоящим внимания истинного художника.

Однако избежать политики мне не удалось; она сама — внезапно и грозно — напомнила о себе...

* * *

Придя как-то утром на работу, я не застал там ни Гатлобера, ни Крайнева; столы их пустовали весь день, а вечером, перед уходом, одна из сотрудниц отдела шепнула мне:

— По-моему, их арестовали.

— Откуда ты знаешь? — насторожился я, так же переходя на шепот. — Ты их видела?

— Ну да! Они были здесь утром — как раз перед самым твоим приходом. Буквально минут за пять... Только вошли, поздоровались — и сразу их вызвали.

— Куда?

— В контору. К инспектору по кадрам. Я видела курьера из конторы, он рассказал. Их, оказывается, ждали. И с ходу взяли под конвой.

— Но за что? — спросил я, — за что?

— Кто его знает... Говорят — за болтовню, за крамольную агитацию. Вроде они в какой-то подпольной организации состояли... Чушь, конечно. Но все равно, жалко. Такие славные мальчишки.

В эту ночь я долго не мог уснуть, бродил по комнате и беспрерывно курил, исполненный мрачных предчувствий.

Если уж ребят заподозрили в крамоле — дело гиблое — думал я, — теперь им хана! Да и мне тоже. Я ведь с ними дружил. Начнут проверять все их связи, все знакомства — и выйдут на мой след.

Предчувствия не обманули меня; через день, когда я небрасывал, склонясь над столом, новый рекламный эскиз, меня внезапно позвали к телефону.

Мягкий развалистый голос сказал в самое ухо:

— Вы сейчас свободны?

— Да не совсем, — ответил я, — а кто это?

— Инспектор по кадрам, — ответили мне.

На секунду я почувствовал стеснение и тяжесть в груди. Сердце гулко стукнуло и замерло и потом зачастило неудержимо. — Ну вот, — мелькнула мысль, — вот и началось!..

— Мне нужно потолковать с вами, — внятно произнес инспектор. — Сейчас идет перерегистрация паспортов, а с вашим паспортом кое-какие неясности... — он помолчал, сопнул в трубку. — Итак, жду!

— Хорошо, — отозвался я, умеряя дыхание, стараясь говорить как можно небрежней. — Ладно. А... когда?

— Желательно — поскорей. Вы сейчас что делаете?

— Да тут один эскиз заканчиваю.

— Эскиз? — он опять приумолк, зашуршал бумагами. — Это надолго?

— Минут на двадцать, не больше.

— Вот через двадцать минут и приходите. — Голос его неувлимо изменился — посуровел слегка, обрел необычную густоту. — Только не задерживайтесь, не заставляйте ждать. Являйтесь точно. Ясно?

— Ясно, — пробормотал я, бросая трубку на рычаг. — Все ясно...

Я закурил и осмотрелся медленно — обвел взглядом просторное, залитое светом помещение отдела. Я понимал, что вижу его в последний раз... И прощался с ним мысленно. С ним, с благополучной жизнью, со всеми своими иллюзиями и мечтами. Прощался надолго, быть может — навсегда.

Однако затягивать прощание было нельзя, в моем распоряжении имелось всего лишь двадцать минут! Двадцать минут, отпущенных мне судьбою, последний ее подарок, единственный крошечный шанс. За это время я должен был пересечь заводскую территорию, благополучно выбраться наружу и раствориться, исчезнуть в уличной толчее.

Беспечно пошвыстывая, вертя в пальцах сигаретку, я направился к выходу — плотно притворил за собою дверь. Оглянувшись коротко. Коридор был тих и безлюден. И я побежал по нему — осторожно, крадучись, все убыстряя шаги.

Ночевал я на вокзале — идти к себе домой не рискнул. Рано

утром (невыспавшийся, грязный, в мятом костюме) я разыскал телефон-автомат и набрал свой домашний номер.

Ответил мне Ягудас, голос его был нетерпелив и вкрадчив.

— Ты откуда звонишь? — поинтересовался он.

— От друзей, — пояснил я уклончиво. — Загулял вчера, выпил. Ну и остался у них ночевать.

— Где же ты все-таки?

— Да какая разница? — сказал я. — Это не важно. Интересно другое: ко мне вчера приходил кто-нибудь?

— Приходил, — негромко и как-то нерешительно отозвался он.

— Кто?

— Какой-то друг.

— Как он себя назвал?

— Да никак. Сказал, что — друг. И все. Подождал немного и ушел, пообещал заглянуть сегодня утром. У него к тебе срочное дело есть... Потому я и спрашиваю — где ты?

Он помедлил выжидательно и потом:

— Если этот твой друг явится еще раз, что ему передать?

— Передайте привет, — сказал я.

Ягудас хитрил, недоговаривал, это было ясно. Те немногие приятели, с которыми я общался, были знакомы ему; неизвестный этот "друг" принадлежал, конечно же, к иной категории. Скорее всего, он явился с Лубянки (именно там имелось ко мне "срочное дело") и, теперь караулил меня, поджидал. Он находился в контакте с Ягудасом! И вот почему сосед мой так настойчиво допытывался, откуда я звоню...

Я вышел из телефонной будки с отчетливым ощущением близкой опасности. За мной охотились, обкладывали — как зверя во время облавы. Надо было спастись, бежать... Но как? И куда? Я был без документов (паспорт мой остался на заводе, в отделе кадров) и почти совсем без денег. Растерянный, я топтался в зале ожидания — среди горланящих, суеятшихся, спешащих куда-то людей. Суэта их, на первый взгляд, казалась бессмысленной. Но все-таки каждый, в отличие от меня, имел здесь определенную, точную цель. Каждый спешил по своему маршруту — по делам или к родственникам.

К родственникам! Я словно бы очнулся от дремоты. Странно, что эта мысль не пришла мне раньше, у меня ведь тоже есть родственница — старшая сестра отца Зинаида Андреевна Болдырева. Она безвыездно живет в Новочеркасске, знает меня понаслышке и теперь, без сомнения, будет рада увидеть меня и приютить.

На исходе дня я уже сидел в купе скорого поезда "Москва-Ростов".

На билет ушли все имеющиеся у меня деньги — все, до копейки! — однако обстоятельство это мало меня беспокоило. Двое суток пути, — рассудил я, — срок небольшой. Как-нибудь перебуюсь, поголодаю, не страшно. Главное, добраться до Новочеркасска! Там, у тетки, поправлюсь, отъежусь на донских хлебах... Когда-то она помогала моим родителям, теперь — поможет мне.

РАЗДОБИТЬ ЕДУ

Адрес тетки я знал весьма смутно. Помнил только, что дом ее находится где-то в самом центре города — на одной улице с особняком Беляевских. Знал так же, что улица эта называлась в свое время Ратная, а теперь переименована в Красноармейскую. Сведения были скудны, однако, для Новочеркасска их оказалось вполне достаточно.

Первый же встреченный мною старик (в полинявшей казачьей фуражке и шароварах, заправленных в толстые, вязаные чулки) охотно и обстоятельно растолковал мне, как пройти к дому Болдыревых.

— Когда-то богатый особнячок был, видный, — заметил он, посасывая гнутую, хрипучую трубку, — а теперь и смотреть не на что, — он наморщился и сплюнул в пыль.

Дом и действительно вид имел неопрятный, запущенный; фасад его был в подтеках, в ржавых пятнах сырости, парад-

ный вход — заколочен досками. На резной решетке двора моталось белье, развешенное для просушки. Здесь же толпились бабы — галдели, перебранивались, сорили подсолнечной шелухой.

— Зинаида Болдырева? — задумчиво в ответ на мой вопрос протянула одна из них. — Что-то я не соображу. Я ведь тут недавно... Это кто же такая?

— Бывшая хозяйка этого дома, — сказал я, — неужто не знаете?

— Ах, бывшая. Ну, как же, как же! Знаю. Андреевна... А вам она зачем?

— По делу, — сказал я сухо.

— Ну, так ступайте вверх.

— Куда же? — спросил я, окидывая взглядом окна второго этажа.

— На самый верх, — пояснила баба. И опять засмеялась, обнажая крупные желтые лошадиные зубы. — Ихние хоромы — под крышей, на чердаке!

Я поднялся на чердак по скрипучей, узенькой лестнице. С трудом разыскал в полумраке дверь. Толкнул ее — и ощутил густой, невыразимо сладостный запах жареной картошки. Я словно бы опьянел от этого запаха (я ведь не ел почти трое суток!) и, войдя в просторную, чисто прибранную комнату, как-то сразу ослаб, прислонился к дверной притолоке, смахнул рукавом испарину со лба. Голова у меня кружилась, к горлу подкатывала тошнота. И, вероятно, поэтому я не сразу заметил стоящую в глубине комнаты женщину.

Невысокая, седая, в брошенном на плечи платке и темном, старушечьем платье, она стояла возле стола — возле сковородки с шипящей, розовой, подернутой паром картошкой.

— Здравствуйте, — сказал я, — вот мы и увиделись, наконец. Я Трифонов. Сын Евгения Андреевича.

— Сын Евгения?

Она вздрогнула, судорожно нашарила на столе пенсне и поднесла его к глазам:

— Это какой же сын — Андрей, что ли?

— Нет, — косясь на сковородку и глотая слюну, ответил я, — нет, другой.

С минуту она изучала меня, разглядывала пристально, настороженно. Потом сказала — щурясь и поджимая губы:

— Сын Евгения... А скажи-ка: где вы жили в Москве?

— Смотря когда, — пробормотал я.

— Что значит — когда? — нахмурилась она. — Я спрашиваю, где вы вообще жили?

— В разных местах, — ответил я, испытывая растерянность и неловкость. Встреча эта представлялась мне иной, я не ожидал подобного допроса. — При отце мы почти все время проживали за городом.

— За городом?

— Ну да. На станции Кратово. Это по Казанской дороге. А потом я к матери перебрался.

— А какой у нее адрес?

Я назвал улицу и номер дома. Она промолчала и затем, — знакомым, совершенно отцовским жестом, — сняла пенсне. Подышала на него. Медленно протерла стеклышки.

Я ожидал, что она улыбнется, оттаит — пригласит меня сесть, поинтересуется, не голоден ли я... Но вместо этого она спросила:

— А документы у тебя есть?

— Послушайте, тетя, — проговорил я, — вы что — не верите мне? Или боитесь чего-то?

— Да нет, — замялась она, — не в этом дело. Просто хочу посмотреть — на всякий случай...

— На какой это случай? — перебил я ее.

— Ну, мало ли... Вдруг придут проверять!

— Вот тогда я и покажу документы. Или вам нужно — сейчас?

— Да, — сказала она, — да. Сейчас.

Я посмотрел ей в лицо и понял, что надеяться здесь не на что, она не примет меня, не спасет, не укроет. Она боится! Боится всего. Она больна этим страхом. И давно уже ничему не верит.

И тогда — не говоря больше ни слова — я повернулся резко, рванул дверь и вышел на лестницу, сопровождаемый хмельным и томительным ароматом еды.

Медленно, на ватных ногах, добрал я до вокзала, потолкался там, нашел на перроне несколько окурков и долго с жадностью хлебал папиросный дым... Потом, влекомый толпой мешочников, вскочил в вагон ростовской электрички.

Я не знал — куда и зачем я еду. Теперь мне все было безразлично. Отчаявшийся и бездомный, я чувствовал себя в тупике, в безвыходном положении. Устроиться на работу я без паспорта не мог. Жить мне было негде и не на что. Оставалось одно: идти сдаваться в милицию. И кто знает, возможно, я так бы и поступил, если бы не память. Слишком сильны и отчетливы были мои воспоминания о лагере, о тюремной больнице. Нет, возвращаться к этому я не мог, не хотел. — Лучше уж подохнуть, — думал я, стоя в тесном, битком набитом тамбуре, — подохнуть под забором, под любым кустом, — где угодно, но только не в камере, а на воле.

Была суббота — базарный день. И люди, ехавшие со мной (это были, в основном, жители Новочеркаска и окрестных станиц) спешили в Ростов, на Привоз — на центральный рынок. Все разговоры в вагоне велись о продуктах, о товарных ценах. И невольно прислушиваясь к ним, я тоже решил побыть на Привозе. В конце концов, — подумал я, — подохнуть никогда не поздно. Это успеется. Самое главное сейчас — раздобыть еду!

Я долго в этот день мыкался по базару — приглядывался, ждал удобного случая... Случай, однако, не подворачивался, местные торгаши были люди опытные, зоркие, способные сами обмануть кого угодно.

У меня не хватало должной сноровки — я сознавал это. И не знал, что же мне делать дальше. Обессилен от напрасных трудов, я остановился, прислонясь к телеграфному столбу. Губы мои запеклись и потрескались, глаза щипало от пота. Сквозь зыбкую, застилающую взор плену я видел край дощатого ларька, груды ящиков и мешков, а рядом с ними — красное распаренное лицо старухи, торгующей рыбными котлетами.

— А вот, горяченькие! — монотонно выкрикала она, — из налима, из чебака, из сомины! Без обману! На подсолнечном масле!

Товар старухи шел нарасхват. Карманы потертого ее жакета распухли от денег. Один из карманов, судя по всему, был прорван, и деньги попали за подкладку; она провисала от тяжести, топорщилась, бросалась в глаза...

Кто-то легонько тронул меня сзади за рукав. Я обернулся и увидел худощавого паренька — курносого, с белыми бровями, с растрепанной челочкой, косо прикрывающей лоб.

— Пасешь? — спросил он, подмигивая; он явно принимал меня за своего. — Молотнуть хочешь, а?

В ту пору я еще плохо знал воровской жаргон, далеко не все понимал в нем. Но общий смысл этих слов уловить было все-таки можно.

И я сказал, стараясь выглядеть человеком бывалым, знающим дело:

— Молотнуть можно, конечно. Гроши приличные — сами в руки просятся...

— Давай вместе, — быстро проговорил паренек, — хочешь, а?

С этого момента, собственно говоря, и началась моя блатная биография.

ПЕРВАЯ КРАЖА

Первая кража — как и первая любовь — событие особое, памятное, оставляющее в душе неизгладимый след. Потому он так прочно и врезался мне в память, давний этот июньский день!

Я помню его превосходно, во всех подробностях. Помню, как новый мой приятель сказал шепотком:

— Становись на притырку... Отвлекай! Работа пустяковая — сделаем быстро! А потом встретимся на берегу, у затона, там, где вся кодла собирается... Спросишь Леньку-Хуторянина, тебе каждый покажет.

Я молча кивнул. Подошел к старухе вплотную. И небрежно спросил ее, поигрывая бровью:

— Почем продаешь, мамаша?

— Червончик пара, — отозвалась она, — горяченькие, без обману...

— Без обману, говоришь? — прищурился я. — Все вы тут горазды на слова, а сами тухлятиной торгуете.

Лицо ее перекопилось, брови гневно поднялись, глаза вышли из орбит.

— Это кто, — спросила она, подбоченясь, — это кто это тухлятиной торгует?

Она наступала на меня захлебываясь, путаясь в словах.

— Это я-то? Да ты... Тухлятиной?! Да ты в своем ли уме? Ах ты...

Пока она бушевала — парень с челочкой не дремал. Незаметно подкравшись к ней, зайдя со спины, он опустил на короточки. В руке его блеснула бритва... Все последующее произошло в одно мгновение.

Аккуратно, кончиками пальцев, приподнял он полу старухино жакета. Нашупал цветастую, отягченную деньгами подкладку. Слегка оттянул ее книзу — примерил глазом. И стремительным плавным движением полоснул по ней лезвием. И сейчас же на землю, в пыль, густо посыпались скомканные червонцы.

Откуда-то возник еще один паренек — смуглолицый, в клетчатой, сбитой на ухо кепочке. Присел рядом с Хуторяниным и помог ему собрать рассыпанные деньги. Затем оба они шмыгнули за угол ларька.

Уходя, смуглолицый оглянулся, мигнул мне значительно. И указал ладонью куда-то вдаль. Проследив за направлением его руки, я увидел голубую, мерцающую полосу воды.

Ребята звали меня туда — к излучине Дона. Пора было смыться... Отмахнувшись от разъяренной торговки, я сказал примирительно:

— Ну, чего ты, старая, развопилась? Остынь. Я же ведь не о тебе лично говорю, я — вообще...

И отступил поспешно — окунулся в толпу.

Минуту спустя, когда я выбрался уже из рыбных рядов, послышался истошный, пронзительный бабий вопль. Торговка обнаружила пропажу и убивалась теперь, голосила на весь Привоз.

Надо сказать, что никаких угрызений совести я в этот момент не испытывал, наоборот. Я был ожесточен, предельно озлоблен. Озлоблен на весь мир. На всех людей.

Меня никто не жалел, — угрюмо думал я, — никто, никогда! После того, как умер отец, я ни от кого не видел добра — ни от близких мне людей, ни от чужих. Все они дерьмо, все — одинаковы! С какой стати я буду им сочувствовать? Проклятые, они заслуживают не жалости, а мести.

Так я размышлял, продираясь сквозь базарную толпу и потом шагая по берегу Дона. Я шел к блатным. Путь мой был ясен, сама судьба указала мне его.

Я ступил на эту стезю случайно, но менять ее отныне не собирался. Единственное, что меня беспокоило — это предстоящее знакомство с "кодлой", с таинственным воровским миром. Как там отнесутся ко мне, как примут? Да и примут ли?

* * *

Я разыскал блатных довольно быстро; они размещались за бугром, на пляже — на песчаной косе, омываемой мутной, радужной от мазута водою.

Кодла была в сборе. И выглядела она со стороны весьма мирно. Развалясь на песке, урки выпивали, закусывали, некоторые из них загорали, подставляя солнцу расписные, татуированные плечи и животы. Иные сидели, собравшись в кружок — там шла игра, трещали карты, раздавались отрывистые, странные, похожие на заклинания слова: "иду по кушу", "не заматывай!", "четыре сбоку — ваших нет!"

Здесь же слонялись и женщины, очевидно, воровки. Или же проститутки. А, может быть, просто — подруги блатных.

Внезапно из-за днища опрокинутой барки выглянула белесая, с растрепанной челочкой голова.

— Эй, ты, — крикнул Хуторянин. И свистнул в согнутый палец. — Где это ты застрял? Иди, давай, получай долю!

Я приблизился к барке, и тотчас же у меня схватило от голода кишки, рот наполнился вязкой, тягучей слюной... Ребята пировали.

На разостланной газете у их ног были навалены помидоры, куски колбасы, ноздреватые, крупные ломти хлеба. Лоснилась желтоватая тарань. Зыбка поблескивала початая бутылка водки.

— Я уж было подумал, тебя прихватили, — проговорил Хуторянин, — смотрю: нету и нету... Там как — все нормально?

— Нормально, — усмехнулся я, вспоминая торговку, перекошенное ее лицо, пронзительный судорожный голос.

— Ну и лады, — сказал он, — отдыхай... Может, захмелиться хочешь?

И, не дожидаясь ответа, быстро (он все делал быстро) схватил бутылку, плеснул из нее в стакан и широко жестом подвинул мне закуску.

Молча, благодарно принял я из рук его стакан водки. Выпил. Перевел дух. И хищно впился зубами в пахучую, нежно похрустывающую горбушку.

Покуда я ел, ребята помалкивали, курили, затем один из них (тот, что был в клетчатой кепочке) сказал, с едва уловимым акцентом:

— Давай, дорогой, рассчитаемся.

Он пошуршал в кармане, достал оттуда пачку смятых червонцев. Разгладил их, разровнял. И сунул мне в ладонь.

— Держи! Девять красненьких. Всем поровну — так?

— Так, — согласился я. И замолчал, посуровел, разглядывая замусоленные эти бумажки — первую блатную добычу, первый свой воровской гонорар.

— Это все, конечно, зола, — проговорил Хуторянин, по-своему расценив мою задумчивость, — но ничего! Курочка по зернышку... К вечеру пробежимся еще разок — и лады. Базар у нас здесь бога-а-атый.

Он выразительно щелкнул пальцами. И вдруг спросил, глядя на меня в упор:

— Ты откуда зашел?

— Из Москвы, — ответил я, весь подобрившись внутренне, боясь хоть в чем-нибудь оплошать.

— Чалиться где-нибудь приходилось?

— Конечно, — сказал я. Слово "чалиться" было мне знакомо, означало оно — сидеть, быть в тюрьме. Я запомнил его давно и накрепко. — Ясное дело — приходилось.

— Где же ты побывал?

— Да почти везде, — процедил я, лениво оттопырив губу. — В Бутырках, на Красной Пресне.

— Я тоже в Москве подзасекся разок, — протяжливо и гортанно сказал смуглолицый, — только я не на Пресне был, а в Таганке... Знаешь Таганку?

— Знаю, — соврал я, — тюрьма знаменитая.

— Ну, давай знакомиться!

Он протянул растопыренную, раскрытую для пожатия пятерню. Представился:

— Кинто.

И посмотрел на меня выжидательно.

И вот, в тот самый момент, когда я уже готовился пожать ему руку и мысленно, наспех, подыскивал собственное свое прозвище (хотелось назваться как-нибудь позамысловатей, поблатней), откуда-то сбоку прозвучал шепелявый, медленный, странно знакомый голос:

— Чума, ты, что ль? Вот не ожидал!

Я поднял голову — и увидел Гундосого.

СЫН БОСЯКА - ЭТО КРАСИВО!

Первым моим чувством было смятение. Встреча с давним врагом не сулила мне ничего хорошего. Разоблачение (которого я опасался с самого начала) становилось теперь, в сущности, неизбежным.

Кривя в ухмылочке мокрые свои губы, Гундосый спросил:

— Ты что, Чума, тут делаешь?

— Сам видишь, — сказал я, — выпиваем...

— Ну, так пойдем со мной, — заявил он, — выпьем еще! И, кстати, потолкуем. Как-никак, давние знакомые.

Я медленно встал и побрел за ним, увязая в раскаленном песке. Тон его озадачил меня. В нем не чувствовалось прежнего высокомерия, слова звучали мягко, почти дружелюбно. И дружелюбие это — настораживало.

— Что-то тут не так, — лихорадочно соображал я, — что-то за всем этим кроется... Непонятно только — что?

Когда мы отошли, он сказал, искоса оглядывая меня:

— К шпане, значит, прибился? Блатную жизнь полюбил? За-а-абавно!

— Так уж вышло. — Я пожал плечами. — Такая выпала карта...

— И... не страшно? — поинтересовался он.

— А чего бояться-то? — беспечно ответил я.

— Ну, как же! Наша жизнь — не мед... Всякое бывает.

— Ерунда, — отмахнулся я. — Ты же знаешь, я не из пугливых. Помнишь ту ночь — на Красной Пресне?

Мгновенная судорога передернула его лицо. Глаза ушли в тень, черты заострились. Верхняя рассеченная губа дрогнула и приподнялась, придавая ему сходство с каким-то мелким зверьком.

— Слушай, — сказал он глухо, — к чему ворошить старое?

Он подался ко мне — придвинулся вплотную:

— Ты вот что... Хочешь со мной дружить? Хочешь, чтоб я тебе помог?

— Что-о-о? я даже попятился удивленный, — дружить? Я ожидал всего, чего угодно — но только не этого! И колебалась, томясь, опасаясь подвоха, спросил Гундосого:

— Это... серьезно?

— Конечно, — ответил он, — тут, милоч, не до шуток. Если желаешь — помогу! Замолвлю за тебя слово. Блатные пока ничего про тебя не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда — сам понимаешь...

И, выдержав паузу, повторил: — так как, хочешь?

— Ну, ясно, — сказал я, — еще бы! Только ты объясни: чего ты сам-то хочешь?

— Дело простое, — с натугой выговорил он. — Про тот случай, на Пресне, — забудь! Не поминай ни единым словом. Нигде, ни с кем — понял?

— Понял, — сказал я, не в силах скрыть торжествующей улыбки.

Вот, значит, как все обернулось! Любопытные сюрпризы иногда устраивает судьба. Гундосый утаил от ребят давнюю ту историю с надзирателем — и оказался теперь в моих руках. Наши шансы, таким образом, уравнились. И неизвестно еще, кто кого должен отныне бояться по-настоящему!

Что-то в моем лице не понравилось ему, вероятно, улыбка. Очень уж она была откровенной. И он сказал, угрожающе понизив голос:

— Имей в виду, Чума! Начнешь трепаться — будет плохо. Наживешь беду.

— И ты — тоже, — ответил я мгновенно. И добавил с острым, мстительным удовольствием: — Имей в виду, Гундосый! Блатные ничего пока не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда — сам понимаешь...

— Н-ну, что ж, — он насупился, сильно потянул воздух сквозь сцепленные зубы. — В конце концов, погорим оба... Какой с этого прок? Что ты здесь выгадаешь?

— Да в общем-то, ничего, — признался я.

— Тогда порешим по-доброму?

— Ладно, — сказала я, — порешим...

Гундосый выплюнул изжеванный окурок. Утер рот ладонью. Затем сказал, пришепывая и мигая:

— Теперь, и в самом деле, пора выпить! Только не здесь. Жара, пылица... Вот что, — он хлопнул меня по плечу. — Пошли на малину! Кстати, познакомлю тебя кое с кем... На всякий случай, давай договоримся заранее: ты из воровской семьи. Вырос в притоне. Мать — шлюха. Отец — босяк, из старорежимных, из тех, кого раньше называли "серыми". Согласен?

— Господи, — сказал я, — ты прямо, как в воду смотрел: почти все совпадает! Отец когда-то и в самом деле босяковал здесь, был самым настоящим "серым".

— Тем лучше, — подмигнул Гундосый. — Сын босяка — это красиво! Это звучит!

* * *

Так я вошел в блатное общество.

Приняли меня здесь вполне благосклонно (сын босяка — это красиво!) и с ходу зачислили в разряд "пацанов" (так на жаргоне именуется молодежь, еще не обретшая мастерства и не достигшая подобающего положения).

По сути дела, "пацан" — то же самое, что и комсомолец. Перейти из этой категории в другую, высшую, не так-то просто. Необходимо иметь определенный стаж, незапятнанную репутацию, а также — рекомендации от взрослых уроков.

Процедура "возведения в закон" ничем почти не отличается от стандартных правил приема в партию... Происходит это, как водится, на общем собрании (на толковище). Представший перед обществом "пацан" рассказывает вкратце свою биографию, перечисляет всевозможные дела и подвиги, причем, каждое из этих дел подвергается коллективному обсуждению. И если блатные сходятся в оценке, и оценка эта положительна, поднимается кто-нибудь из авторитетных уроков, из членов ЦК. И завершает толковище ритуальной фразой:

— Смотрите, урки, хорошо смотрите! Помните — приговор обжалованию не подлежит. Теперь мы все — за него в ответе!

Впоследствии это произошло и со мной (на Кавказе, в городе Грозном, среди местных майданников). Однако, прежде чем я стал законным уголовником, мне пришлось немало поколесить по югу страны...

Самой важной для меня проблемой в ту пору был выбор ремесла. Выбор должной профессии.

ЗАКОНЫ РЕМЕСЛА

Блатных профессий, в принципе, множество — им несть числа. Но если попробовать все же классифицировать их, — не трудно выделить из общей массы три, самых основных вида кражи: карманную, квартирную и железнодорожную. В этот классический перечень входит также взлом сейфов и касс.

Начал я с карманной кражи. И потому она стоит в моем списке первой.

Потом я переметнулся к "слесарям" — к тем, кто промышляет квартирными кражами. Но, поразмыслив, я понял, что и эта профессия не для меня.

Если работа карманников связана со скандалами и публичным срамом, то "слесарное" ремесло — слишком уж часто пахнет кровью.

Исполненный сомнений и маяты, я однажды снова встретился с Гундосым.

Он явился загорелый, обветренный, пропыленный — только что с поезда. По обыкновению, суетясь и мелко хихикая, сообщил, что приехал из Ташкента, что собирается теперь махнуть на Кавказ...

— Начинается курортный сезон, — пояснил он, — для майданников — самая золотая пора! Самая урожайная!

— Слушай, Чума, едем со мной, а? Посмотришь, как майданники живут. Я давно хотел тебе предложить. Ну что ты на своем базаре видишь? Толкучка, грязь, суета... Скука! А у нас житуха веселая. Все время на колесах, в дороге. Завтракаем в Ташкенте, ужинаем в Баку.

Эта дорожная поездная жизнь показалась мне заманчивой, она пахла романтикой и новизной...

И я согласился на предложение Гундосого, согласился тотчас же, почти не раздумывая!

Мы ударили по рукам и договорились о точной дате отъезда.

Гундосый подозвал официанта — заказал еще пива, и по сто пятьдесят граммов водки.

Весь этот день и вечер мы провели вместе, шатались по городу и пили еще. Потом, уже в сумерках, накануне ночи, отправились на Богатыняновскую — к генеральше.

В каждом крупном городе страны имеется блатной район — свое "дно", свое прибежище порока.

В Тбилиси, например, это Авлабар; в Одессе — Пересыпь и Молдаванка; в Киеве — Подол; в Москве — Сокольники и Марьино Роща... Средоточием ростовского преступного мира является с незапамятных времен нахичеванское предместье, а также Богатыняновская улица.

Улица эта знаменитая! Издавна и прочно угнездились тут проститутки, мошенники, спекулянты. Тут находится подпольная биржа, черный рынок. И мало ли еще что находится на этой экзотической улице! Она исполнена своеобразного колорита и овеяна легендами. О ней сложено немало забавных частушек и песен. "На Богатыняновской открылась пивная, — сообщается в одной из таких песен, — где собиралась компания блатная. Где были девочки Маруся, Рита, Рая. И с ними Костя, Костя-шмаравоз". (Шмара — по блатному — своя баба.)

Блатные компании собираются здесь во множестве. Для этой цели существует, помимо пивных, немало укромных мест: всякого рода ночлежки, потайные притоны и ямы.

"Ямами" называются дома, где орудуют скупщики краденного — "барыги". Есть у этих скупщиков и другое, библейское прозвище — "Каины". Мне оно кажется гораздо более поэтичным и точным.

"Яма", в которую мы забрели, принадлежала величественной даме — генеральской вдове. Вдова владела собственным домиком: небольшим, четырехкомнатным особняком, доставшимся ей по наследству от мужа, крупного армейского снабженца, скончавшегося во время Отечественной войны.

Расположен был особнячок удобно, в глубине двора, среди зарослей сирени. Двор окружал высокий забор, помимо главного входа здесь имелись еще и боковые калитки, выводящие

в соседние переулки. Через одну из таких калиток мы и проникли в сад.

Дебелая рыхлая дама, в кружевной пелерине, в свистящем шелковом платье, приняла нас радушно и угостила превосходной домашней наливочкой.

— Ежели не спешите, — сказала с улыбкой вдова, — оставайтесь ужинать. Будут блины со сметаной и хорошие девушки...

После ужина я выбрался во двор. Зажег папиросу. Медленно обошел вокруг дома. И остановился, прислонясь к стене, бездумно прислушиваясь к шорохам ночи.

Я стоял под окошком, раскрытым и завешенным шторами. Зеленоватый мутный свет проникал сквозь ткань и мягко расплескивался по траве и кустам.

Внезапно сирень посветлела, сделалась ярче, подробно и выпукло проступили из полумрака густые, зернистые гроздья. Я поднял голову и увидел в окне мужскую незнакомую фигуру.

Отодвинув штору, кто-то разглядывал меня; разглядывал пристально, настороженно...

Был он немолод и лысоват, в железных очках, с запавшими щеками, с неряшливой и жидкой бородкой. Поскребывая ее ногтями, он погодя спросил стесненным, сдавленным шепотком:

— Вы кто? Вы из этих... Из уркаганов... да?

— Из этих, — сказал я.

Вопрос показался мне странным. Да и тон, каким он был задан, — тоже. Он никак не вязался с обстановкой, с характером всей этой "ямы".

Хотя, с другой стороны, — подумал я тут же, — стиль здесь особый, замысловатый... Возможно, это кто-нибудь из друзей генеральши, такой же, как и она, "начитанный" жулик!?

И я, в свою очередь, спросил, придвинувшись к окну:

— А вы — кто?

— Это не важно, — проговорил он быстро, — не имеет значения.

И потом, усевшись боком на подоконник:

— Закурить есть? Будьте так добры...

— Найдется, — ответил я. И протянул ему пачку "Бело-мора".

Он торопливо вытряхнул из пачки папиросу. И долго прикуривал, ломая спички зыбкими, вздрагивающими пальцами. Наконец, задымил, затаился жадно. И сказал, остро вглядываясь в заросли сада, в сырую шевелящуюся тьму:

— Не спится. Да и как уснешь? Все время кто-то ходит, дышит, шуршит... Вот сейчас, слышите?

Остроугольное, исполованное продольными морщинами лицо его кривилось и подергивалось, глаза были расширены; там, в глубине их, не было видно никакого движения мысли — только страх, один только страх, тоскливое и болезненное смятение.

— Слышите, слышите! Вон там, слева, у калитки... Вам не кажется?

— Нет, — сказал я, — не кажется. Да кого вы, собственно говоря, так боитесь?

— Их, — ответил он.

— Кого "их"?

— А вы будто не понимаете? — прищурился он, поправляя очки.

— Чепуха, — отозвался я, — здесь место надежное. Все сделано с умом и со вкусом.

— Ну, по поводу вкуса можно было бы поспорить, — пробормотал он. — Да это, в общем, не существенно. А вот насчет ума, что ж... Ума у них тоже хватает, можете мне поверить! Там, в органах, не дураки работают. Нет, не дураки. Я знал многих дельных чекистов. Да и самого Феликса Эдмундовича встречал когда-то.

От этих его слов мне стало как-то не по себе. И я сказал, испытывая растерянность и глухое, смутное раздражение:

— Давайте, в конце концов, объяснимся... Что-то мне непонятно. Кто вы такой, черт возьми?

— Не знаю, — вздохнул он, теребя бородку. — Это мне и самому непонятно.

— Вы что, — спросил я тогда, — меня, что ли, боитесь?

— Вас? — он протер очки, наморщился, опустил брови. — Нет... А впрочем... Я всех сейчас боюсь. И себя самого — тоже! Он рывком загасил окурок. Обвел взглядом помраченный сад. И с треском захлопнул окошко.

* * *

Так, случайно, встретился я с опальным коммунистом, бежавшим от бериевских репрессий и скрывающимся в уголовном подполье Ростова.

Генеральша кое-что рассказала о нем. Человек этот (старый партиец, приятель ее покойного мужа) работал в Донбассе, в угольном тресте и занимал там немалую должность, был "замполитом" — заместителем управляющего трестом по политчасти. Должность свою он исполнял старательно... Однако это не уберегло его. Узнав, что на него заведено "дело" и что ему, возможно, грозит арест, он не стал, как другие, дожидаться прихода чекистов. Не захотел испытывать судьбу. Он бросил дом, семью, работу — бросил все! — и исчез, спасаясь бегством. На что он рассчитывал? Трудно сказать. Активного политического подполья в советской стране не существует — он это знал. Надежных друзей у него не было, сбережений тоже. А воровать он не мог и не хотел. И в результате, покинув Северному Кавказу, проев последние деньги и обносившись вконец, он очутился на ростовской товарной станции. Там его и подобрали блатные — изможденного, больного, умирающего с голоду. Некоторое время он отлеживался в одном из нахичеванских притонов, а затем переехал сюда.

С тех пор он здесь и живет, — сказала генеральша, — и прячется, всего боится, вечно сидит взаперти. Станный человек! Иногда мне кажется, что он сходит с ума.

— Наверное, накладно держать такого нахлебника? — поинтересовался Гундосый.

— Ничего, — улыбнулась она, поправляя кружевную свою накидку, — не объест. Да и кроме того, мне иногда подбрасывают деньжата — специально для него.

— Кто же? — удивился я.

— Ваши ребята, — сказала она, — кто же еще? Блатные.

— Но, почему?

— Люди ведь не без сердца, — резонно ответила вдова, — жалеют! Видят: некуда бедняге податься. И потом... — она помедлила, дымя сигареткой. — Почти у каждого, если вдуматься, есть в семье свои репрессированные, взятые за политику. Один потерял родителей, другой — дальних родственников. Ну и вот. Глядя на этого, каждый, вероятно, думает о своем...

— Что ж, — сказал я, думая о своем. — Раз такое дело... Мы тоже — не без сердца!

Я достал несколько кредиток и швырнул их на середину стола. Ко мне сейчас же присоединился Солома, старый медвежатник

Отсчитывая деньги, он проговорил с усмешечкой:

— Жалко мне этих политических, ей-Богу! Власть их гнет, в порошок перемальвает, а они... Ничего они не могут, ни к чему не способны. Только слова говорить горазды, это, конечно, неплохо. Но иногда ведь нужны и дела.

— Вот, вот, — подхватил Гундосый, — ты правильно сказал. Нужны дела.

И он наотрез отказался внести свою долю.

— Этот замполит, я вижу, неплохо устроился, — заявил он гнусаво, — сидит себе на всем готовом, как мышь в кладовой... Нет, братцы, так не годится! Да с какой стати я должен его содержать? В честь чего? Мне гроши даются ведь не задаром: я за них ежечасно свободой рискую, шею свою — вот эту! — под хомут подставляю... Пуцай и он тоже пошустрит, постарается!

— Но если он не способен? — возразила вдова. — Он человек жалкий, совестливый, не от мира сего...

— Красть он, значит, не способен, — сказал, сужая глаза. Гундосый, — а деньги от воров способен брать — так, что ли? Это ему совесть позволяет, так? Нет уж, пуцай выбирает что-нибудь одно.

Он нервничал, кривился, брызгал слюной; лицо его и го-

лос — все мне внушало отвращение. И все же в том, что он говорил, была своя правда, своя, весьма здравая, логика. ...Итак, я стал майданником — приобщился к пестрому племени железнодорожных бродяг.

Племя это обширно и многообразно, так же, как и в любой преступной среде, существует немало различных категорий. Среди майданников есть, например, такие, кто орудует преимущественно на вокзалах — в толчее, в часы посадки.

Вокзальные кражи — характерная особенность российского дорожного быта. Существует старая притча об одессите, вернувшемся в свой город из многолетних странствий. Сойдя с поезда и опустив наземь чемоданы, он говорит в растерянности: "Как все изменилось вокруг! Не узнаю Одессы". Затем озирается и замечает, что вещи его исчезли... И тогда восклицает почти с умилением: "Вот теперь, моя родина, я тебя узнаю!"

Я сказал о "дорожном быте" не зря: Россия по сути своей — страна кочевая. Кочевая, как встарь, как и в древности. Великая и мятущаяся, она вся в пути! Она живет на вокзалах, ютится под гулками их бездомными сводами. Дремлет там и бесчинствует. Молится и сквернословит. Взыскует истину, и грешит, и ворует. И все это (и молитвы, и воровство), все творится здесь искренне и с азартом!

Я отчетливо ощутил этот российский дух во время своих скитаний.

ПОД КОЛЕСАМИ

Гундосый оказался неплохим учителем. Он был терпелив и внимателен. И в конце концов я как-то внутренне примирился с ним, успокоился; помаленьку стал забывать былые мои обиды и нашу вражду.

Вообще для вражды этой, рассуждая здраво, не было теперь никаких оснований. Связанные общей тайной, взаимным уговором, мы с ним, по сути дела, давно уже являлись единомышленниками, а не врагами; соратниками, а не противника-

ми. И Гундосый упорно доказывал мне это, доказывал не только в работе, но и в повседневном быту: ссужал деньги, опекал и пестовал. И постоянно подчеркивал при блатных дружеское, доброе ко мне отношение.

Блатных ребят, кстати сказать, на ростовской дороге было множество; они кишели там повсюду, встречались на каждом шагу. Соединяющая Москву с Закавказьем, трасса эта была, пожалуй, одной из самых бойких на юге страны. Здесь я провёл с Гундосым все лето и начало осени.

А затем с первыми холодами мы избрали новый маршрут.

В этом году осень выдалась на Дону ранняя и ненастная. И гонимая ею поездная шпана поспешила откочевать в солнечный город Баку. Туда же вскоре отправился и я с моим другом. Но пробыли мы на бакинской трассе недолго.

— Шумно здесь стало, неудобно, — как-то раз сказал он, сидя со мной в баладжарской шашлычной. — Махнем-ка дальше — к Ирану, к Турции! В Горадиз, в Ордубад... Поглядим на всамделишный, настоящий Восток, а? Не возражаешь?

Нет, я не возражал. Поглядеть на настоящий Восток мне хотелось давно, еще с детства.

* * *

Восток оказался пыльным и скучным.

Однообразная, желтая, выжженная равнина тянулась за окнами вагона — и не было ей конца! В литературе все это выглядело гораздо импозантней и красочней; со страниц детских моих книг Восток предстал загадочным, ослепительно ярким... Здесь же, у рубежей Ирана — в районе древних караванных путей — ярким было только солнце. Одно лишь солнце! Слепящее и яростное, оно затопляло зноем пески; оно проникало всюду, проклятое это светило! От него невозможно было укрыться, нечем было дышать!

Горячий горький ветер бил в открытые окна, обжигал наши лица и засыпал все в купе хрустящей порошей. Не выдержав духоты, мы с Гундосым перебрались в тамбур, а затем — на крышу. Но вскоре вынуждены были слезть и оттуда: ме-

таллическая кровля вагона напоминала раскаленную сковороду.

Тогда Гундосый вспомнил о "собачьем ящике".

— Под вагоном-то, наверняка, прохладно, — заявил он, — да и кроме того, завтра — Горадиз. А там, учти, начинается пограничная зона. Режимный район! Возможно, будут проверять документы. Так что лучше уж побережись заранее. В "собачьем ящике" кто нас будет искать?

— Режимная зона, говоришь? — удивился я.

— Ну да, — пожал он плечами. — Граница-то ведь рядом!

Он ткнул пальцем в сторону Ирана; там клубилось желтое малярийное марево, курчавились заросли карагача и верблюжьей колючки. Впервые в жизни я видел чужую землю — и она была так же скудна, как и моя...

— Но если здесь проверяют, — сказал я хмуро, — какого черта мы сюда притащились? И почему ты заранее не предупредил?

Он не ответил — что-то буркнул невнятно. И, опустив глаза, начал поспешно разжигать папиросу.

Разговор этот происходил перед вечером на пустынном разъезде. Покуривая и переминаясь в песке, мы стояли возле головного вагона. Жуя папиросу, жмуря глаз от дыма, Гундосый погода спросил:

— Ты вообще-то ездил под вагонами? Знаешь, что такое "собачий ящик"?

— Нет, — сказал я, — слышал, конечно, много... Но самому — не доводилось.

— Ну вот, теперь доведется!

— Ладно, — сказал я. — Но все же, почему ты не предупредил заранее?..

— Почему, почему, — ворчливо проговорил он. И отмахнулся с досадой. — Откуда я знаю — почему? Забыл, не подумал... Чего ты цепляешься? В конце концов, ты ведь и сам бы мог догадаться, если поезд идет вдоль кордона...

Заглушая его, протяжно и хрипло рявкнул гудок паровоза. Гундосый сейчас же пригнулся, что-то высмотрел под вагоном. И затем:

— Есть такое дело, — сказал, — порядочек. Айда за мной! И, покосившись на меня, мигнув ободряюще, ловко юркнул под колеса.

Что же такое пресловутый "собачий ящик"?

Это и в самом деле обыкновенный ящик, в котором поездная бригада хранит различный, необходимый в дороге ремонтный инвентарь.

Находится он под вагоном (не под каждым, под некоторыми, как правило, в голове состава, в центре и в хвосте). И открывается снаружи, со стороны перрона.

Забраться туда, конечно, нетрудно и ехать там удобно. Однако опытные бродяги предпочитают этого не делать.

Расположившийся в таком ящике майданник рискует в основном не жизнью, а свободой... Разомлевший и сонный, он в любую минуту может быть обнаружен случайным кондуктором, поездным рабочим, а иногда и милиционером. Дорожная милиция на остановках заглядывает туда нередко.

Гораздо надежнее (хотя и рискованней) пользоваться данным устройством не с наружной, а с внутренней стороны. Там, под вагоном, "собачий ящик" образует выступ, на котором можно, с грехом пополам, продержаться несколько останков.

Есть и еще одно приспособление, которым постоянно пользуются бродяги. Оно также называется "собачьим ящиком" и именно о нем пойдет здесь речь.

Под днищем многих вагонов имеется продолговатая металлическая коробка, назначение которой, честно говоря, до сих пор остается для меня загадкой. Коробка имеет в длину что-то около двух метров, а в ширину — сантиметров пятьдесят. Она отлично приспособлена для езды — вот что самое главное!

Одному на этой коробке вполне удобно, двое помещаются с трудом. В тех случаях, когда едут вдвоем, людям приходится лежать на боку, вплотную, тесно прижавшись друг к другу, словно столовые ложки...

Причем, тот, кто находится в глубине, должен все время заботиться о товарище — придерживать его и оберегать от па-

дения, ведь он, по существу, наполовину висит. Висит над землей, над звенящими рельсами!

Нырнув под вагон, Гундосый нашарил в полутьме металлический этот ящик, взобрался на него и протянул мне руку.

Ладонь его была потной и скользкой и какой-то непрочной. И, может быть, именно потому я постарался ухватить ее по сильнее.

— Ты чего это? — сказал он насмешливо. — Чего корябаться-то? Или боишься?

— Н-нет, — ответил я. И невольно расслабил хватку. — Нет, не боюсь. С чего ты взял?

И в этот самый момент — тяжело и словно бы нехотя — сдвинулся с места поезд. Он дернулся, ожил и задышал. Шевельнулись и зачавкали блестящие от мазута рычаги. Короткий гром прошел по составу.

Я рванулся к Гундосому... И поник, ослепленный ударом.

Он ударил меня ногой в лицо — жестоко, со всего размаха. И потом еще раз. Но руки его я не выпустил.

Гундосый отдирал мои пальца, ломал их, и грыз, и брызгал слюной. И сквозь железный грохот и лязг до меня долетал гнусавый, судорожный его голос:

— Ты думаешь, зачем я тебя завез сюда, — Восток показать? Ух ты, фраер... Я тебя здесь похороню — и никто ничего не узнает! Ни одна душа! Дорога эта пустая, блатных нет. Ну, а в кодле потом я всегда оправдаюсь. Кодла знает: мы с тобой друзья... Никому и в голову не придет... Я же ведь твой учитель, благодетель, старший партнер! Вот теперь я тебя научу, собаку, я давно этого момента ждал. Давно, все лето.

Он бормотал, захлебываясь и ломая мне пальцы. А я в это время тащился по шпалам, между рельсами.

Рядом с моей щекой, почти вплотную, поблескивало колесо. Оно пахло пылью и нагретым металлом, оно вращалось медленно, прокручивалось с хрустом...

И тогда я взмолился — вспомнил о Боге. Первый раз в жизни вспомнил я о Нем по-настоящему:

— Господи, — воззвал я плача, — Господи! Помоги мне, спаси меня, сохрани...

И внезапно (не знаю уж по какой причине!) поезд замедлил ход.

Опять, надрывно и далеко, прозвучал гудок. Лязгнули, сшибаясь, буфера. Блеснули и замерли колеса.

Все это время я цепко держался за Гундосого — держался, несмотря ни на что. Я словно бы заостенел, впал в странное беспомощество и напрочь утратил ощущение боли... И если бы я даже угодил под колеса и был раздавлен ими — все равно, я ни за что не выпустил бы, не оставил ненавистной этой руки!

Когда вагон внезапно затормозил, я вдруг очнулся. Уперся ногами в шпалу. И приподнялся стремительно.

Лица наши сблизились. Я увидел в полутьме Гундосого. И он тоже увидел меня... И забился, задергался, раздирая в крике слюнявый свой рот.

Положение его, надо сказать, было в этот момент незавидное. Он ведь лежал на боку. Одна его рука бездействовала, была как бы скована, другая же — намертво зажата в моей горсти.

И я тотчас же воспользовался этим.

Левой свободной рукой я схватил Гундосого за горло — сдавил. И рванул его на себя.

Я чувствовал, как под моими пальцами горло Гундосого обмякает, становится зыбким, словно желе. Чувствовал это — и давил его, и сминал, вкладывая в это всю силу свою, весь свой гнев.

Затем поезд двинулся снова; но мне это уже ничем не грозило. Там, где минуту назад лежал мой враг, теперь находился я сам!

Гундосый остался внизу, под колесами... Гулкий, тяжело похрустывающий металл перемолол его так же легко, так же точно, как мог бы перемолоть и меня.

Я спасся от гибели, избавился от врага — но тревоги мои на этом не кончились. Теперь возникла новая задача: как можно скорее покинуть этот поезд! Я понимал: стоит только чекистам обнаружить труп Гундосого (а это случится очень скоро, если уже не случилось), они немедленно начнут меня разыскивать. Я ведь ехал вместе с Гундосым целые сутки.

мы болтались по всему составу, нас видело много людей...

В полночь, во время минутной стоянки (когда паровоз набирал воду), я осторожно, крадучись, выбрался из-под вагона. Спрятался за барханом, в жестких куцах карагача. Дождалься там, покуда поезд уйдет. И затем побрел в сторону от дороги.

Я брел наугад — на северо-восток — по голубым пескам, по ночному дикому бездорожью. В пути я почти не отдыхал, не задерживался. И к утру был уже далеко.

Окончание в следующем номере.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "ХРОНИКА"

"Хроника текущих событий", выпуск 46. Цена - 5.00

Н.Г. ГРИГОРЕНКО. Сборник статей. Цена - 6.00

*В.Ф. ТУРЧИН. "Инерция страха. Социализм и тоталитаризм".
Цена - 10.00*

М.М. ИОФФЕ. "Одна ночь". Мемуары бывшей политзаключенной. Цена - 7.00

"Память". Исторический сборник. Выпуск 1. Цена - 15.00

М.С. ЛУНИН, декабрист. "Сочинения и письма". (Перепечатка из книги 1923 года с приложениями.) Цена - 10.00

В.Н. ЧАЛИДЗЕ. "Уголовная Россия". (Очерки о преступности в СССР.) Цена - 12.00

В "Хронике защиты прав в СССР" в 1978 году впервые на русском языке публикуются отрывки из мемуаров Н.С. Хрущева. Годовая подписка — 15.00.

Цены указаны в долларах. Заказы направлять по адресу:
**KHRONIKA PRESS 505 EIGHTH AVENUE
New York, N.Y. 10018, USA**

"ДВЕРЬ ОТПЕРТА. ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ"...

Коктебель. Дача Волошина. Картины, стихи, музыка, письма, а потом — мемуары, музей.

Сотни имен, десятки судеб вплелись в историю этого дома. Последним теплым пристанищем он стоял на теплом Крымском берегу. Но и сюда долетал ледяной ветер русской революции. И всех, кто бежал от него, от этого пропахшего кровью ветра, укрывал в своем доме поэт, художник, философ и самый добрый человек Максимилиан Волошин.

Он писал о своем доме:

*Усобица, и голод, и война,
Крестя мечом и пламенем народы,
Весь Древний Ужас подняла со дна.
В те дни мой Дом, слепой и запустелый,
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Спасавшимся от петли и расстрела.*

А до революции этот дом был задуман Волошиным как "колония для художников, поэтов, композиторов, путешественников"...

Здесь подолгу жили Цветаева и Мандельштам, Бунин и Брюсов, Белый и Вересаев — можно было бы перечислять и перебирать имена всех, кто теперь уже — история серебряного века русской культуры.

Еще совсем недавно, всего два года назад, на опустевшем осеннем Крымском берегу, на знаменитой террасе своего странноприимного дома, сидела его последняя законная хозяйка и хранительница Мария

Степановна Волошина. На сорок пять лет пережила она своего мужа и, казалось, на сорок пять лет остановила время в этом доме.

Здесь бывало шумно, здесь бывало грустно и скорбно, но никогда не было пусто. И так же поскрипывали лестницы, и те же акварели висели на стенах, и стояла мебель, сделанная Волошиным, и мольберт в его мастерской, и книги, книги, книги. И она рассказывала, где Макс рисовал, и где писал, и что говорил, и кому говорил. И все было, как в его стихах:

*Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом открыт навстречу всех дорог.
В прохладных кельях, белых известкой,
Вздыхает ветер, живет глухой раскат
Волны, взмывающей на берег плоский,
Польный дух и жесткий треск цикад.*

Как будто это было вчера... Хозяйка предлагала ночлег в свободной до приезда Цветаевой комнате. И путались даты — какой год, какой век? И можно было в полумраке гостиной, увидев низкую челку и зеленые (почти, как у сестры) глаза, забыть, что за дверью дома — 1975 год, а не 1915, и что не Марина Цветаева, а Анастасия сидит на низкой скамейке и тихим размеренным голосом читает полуслепшей вдове Волошина Библию... А из мастерской видны все те же, что в волошинских стихах и акварелях — море, и гора-Хамелеон, и Карадаг — "Как рухнувший готический собор"... И можно было не заметить, что совсем рядом бродят по пляжу и парку многочисленные члены — Союза писателей, Союза художников и прочих союзов, и многочисленные председатели и секретари всевозможных правлений, секций, бюро.

...Мы вряд ли еще раз войдем в этот дом. И тени, и голоса живших там людей мы не услышим в его стенах. Но эти тени и голоса остались в картинах, стихах и письмах. Их очень много — этих голосов.

Каждому, кому находилось место в волошинском доме, находилось место и в его жизни. Дружбу его ценили, о дружбе этой писали все, кто был близок с Волошиным. Писали в мемуарах, письмах, стихах.

В эмиграции, в Париже, вспоминала о Коктебеле, о Волошине Марина Цветаева:

*Над вороньим утесом
Белой зари рукав.
Ногу — уже с заносом
Бега — с трудом вкопав*

*В землю, смеясь, что первой
Встала, в зари венце —
Макс! мне было так верно
Ждать на твоём крыльце!*

*Ну а потом на плоской
Вышке — орлы вокруг —
Макс! мне было так просто
Есть у тебя из рук...*

Коктебель опустел в 1917 году. Ездить по стране было опасно. Друзья остались в Москве, Петрограде, а Волошин все революционные и военные годы почти безвыездно жил в Коктебеле. И сотни писем с коктебельским почтовым штемпелем приходили в это время в Москву, Петроград, Париж. Волошин писал обо всем, что было самым важным и самым страшным для российской интеллигенции в те годы.

Друзья сохранили эти письма*. И сейчас эпистолярное наследие Волошина представляет собой уникально богатый исторический, литературный, документальный материал, который до сих пор еще практически не публиковался**. Вряд ли эти письма смогут увидеть свет в России. То, о чем писал тогда Волошин, еще долго будет лежать в архивах. Война и революция, голод и аресты — все это происходило на его глазах. И в эти кровавые годы он считал единственно необходимым делом — "мешать людям расстреливать друг друга". При этом Волошин (по мнению всех властей) определенно страдал политическим дальтонизмом — он упорно не хотел отличать белый цвет от красного. Он просто мешал всем заниматься истреблением живых людей ("... не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я")***.

И еще он писал стихи и письма — предсказывал, анализировал, прощечествовал.

* Почти все письма в публикации приводятся полностью. Взятые в скобки многоточия означают пропуски малоизвестных имен или повторяющихся в других письмах бытовых подробностей.

** Несколько писем Волошина печатались в самиздатском журнале "Евреи в СССР".

*** М. Цветаева "Живое о живом".

10 мая 1917. Коктебель.

Дорогая Марья Самойловна,*

я очень давно не писал тебе и так же давно не получал писем ни от тебя, ни от М/ихаила/ О/сиповича/. Из Москвы я писал вначале только открытки, а потом, когда пришла революция, совсем не писал: думал, что мы скоро увидимся... Но, конечно, вы очень хорошо сделали, что не приехали. Но прежде всего хочется сказать, что я ничего не забыл и верен нашей дружбе и постоянно мысленно беседовал, когда бывал один. Но это бывало только ночью. От людей и разговоров, в которых революция главным образом и выражалась, я устал смертельно. Хочется здесь в уединении осознать, осмыслить исторически и апокалиптически совершающееся, и пока это невозможно: все одна боль и тревога... Надо ли говорить, что с первого марта мое отношение к войне сразу переменялось. Если бы теперь мне пришлось быть призванным, я бы, конечно, не стал отказываться. Мне самому выяснилось, что в моем предполагающемся отказе главным побуждением было недоверие. Мое отношение к войне, разумеется, не изменилось, но явилось новое чувство: личной ответственности за поведение России. Все невыносимо тревожно: никто не знает ни смысла, ни объема тех сил, что призваны к действию. Точно кидаться с шестого этажа и даже не знаешь, куда полетишь — вверх или вниз, потому что самые законы тяготения изменились. Психология социалистов — это еще самое простое. Но я не хочу говорить о событиях: конечно, я живу только от газеты до газеты. С горечью заглядываю в глубину души и думаю о том, что внешний мир так расхлябался, что, очевидно, много лет придется теперь думать только о нем. Хорошее время для тех, кому надо бежать от самого себя. Тем, кто живет в себе своим миром, будут большие неудобства.

Несколько слов о моей зиме и о личных делах: я приехал в Москву только на Рождество. В Петербург так и не попал —

* Марья Самойловна и Михаил Осипович Цетлин — близкие друзья М. Волошина. Им адресованы многие письма 1917-20 г.г.

сперва из-за товарной недели, потом из-за революции: было стыдно ехать из любопытства, когда поехать было так трудно и стольким необходимо. Я выставил 14 своих картин в Мире Искусства и с успехом — моральным и материальным: половину продал. На 700 руб. продал, так что у меня образовалось перенасыщение золотом, и я мог себе купить эту машинку, так как моя рука начала неметь и парализоваться от писания. Конечно, я видел массу людей... Пожил в Москве четыре месяца, и это было слишком много. Как утомительно исключительное переживание мира внешнего безо всякой своей работы!

Мне хочется знать о твоих и М/ихаила/ О/сиповича/ планах. Мне кажется, что, несмотря на весь соблазн, вы очень хорошо сделали, что не приехали, потому что сейчас ехать в Россию — безумие; да и жизнь здесь — все полная неизвестность. Хорошо только то, что совершенно нельзя предвидеть, откуда и как может прийти опасность, так что спокойно можно оставаться на своем месте, никуда не спасаясь, потому что во всем мире больше нет спокойного и безопасного места. Я кончаю это письмо, чтобы его не задерживать. Теперь я буду писать регулярно, не ожидая ответа, чтобы возобновить переписку. Крепко обнимаю тебя и М/ихаила/ О/сиповича/. (...) До свиданья. Где?

14 августа 1917 года. Коктебель.

Дорогой Миша,

только что получил твою закрытку от 8/8. Твое первое письмо действительно я не получил: очень жалею, потому что хотелось знать, что ты о моей статье думаешь. Мне очень часто этим летом не хватало бесед с тобою о текущем: в твоём голосе для меня всегда есть верный камертон скептицизма и безнадежности, а его сейчас среди всей фальшивой разноголосицы идеологий и паники особенно не достает. Читая

газеты, я невольно думаю: с каким бы удовольствием я прочел бы все это через пятьдесят лет, но жить всеми этими нелепостями... какой абсурд! В человеке есть только две творческих силы: вера и скептицизм. Первая творит будущее, вторая упорядочивает настоящее. Если они сочетаются в одном лице, то происходит взрыв, молния, общественный сплав на много веков. А политические деятели хотят вместо взрыва приготовить безопасный химический препарат — политическую программу: целлулоид из нитроглицерина! Не является ли "политическая программа" патентом на творческое бессилие? А она служит критерием доверия... Мне все вспоминается рассказ Фабра (энтомолога) про Пастера, как тот приехал в Лион по поручению правительства исследовать какую-то болезнь шелковичного червя, которая грозила гибелью Лионскому шелководству. Фабр с изумлением убедился из первого разговора с Пастером, что тот не знает даже того, что внутри шелковичного кокона находится червь. И это не помешало ему через два месяца найти причину эпидемии, ускользнувшую от исследования опытных шелководов. Фабр заключает свой рассказ соображением, что Пастер намеренно не ознакомлялся заранее с литературой вопроса, чтобы не повторять тех ошибок, которые сбивали специалистов, чтобы сохранить простодушие подхода. Конечно, это возможно при полном владении методом научного исследования. Именно этот подход необходимее, чем где-либо, в политическом строительстве. А прибегают к нему только в виде крайнего средства: в случае диктатуры, между тем, как он должен быть положен в основу нормальной жизни государства.

У меня глубокая ненависть к политическим теориям... и я сам только и делаю, что строю все новые и новые. Но мое оправдание в том, что я не только не проповедую их, но даже не пишу о них иначе, чем в письмах.

Я чувствую себя вправе говорить теперь только в стихотворной форме. Я много писал и переводил в начале лета и думаю продолжать это осенью, если у меня все будет обстоять благополучно с военным пересмотром, так как мне предстоит снова являться 25 августа.

Это лето складывается в Коктебеле странно и непохоже, отсутствие оборотов все меняет. Потом оно было полно похорон и смертей, о чем ты, вероятно, знаешь из писем Елизаветы Ивановны, которая вместе с Ходасевичем были в этом году зауряд-обормотами. Мы ее все очень полюбили и она, очевидно, привилась к Коктебелю: собирается сюда и на будущий год. Твоя шляпа, которую ты мне подарил когда-то (соломенная), сделала блестящую карьеру: ее носит Горький, приехавший в Коктебель на днях.

Пра* не чувствует себя лучше: к ее обычному уже задыханию присоединились еще боли в плече и очень большая слабость. Но психологическая атмосфера в общем лучше, чем в прошлые годы, Наши зимние планы смутны: едва ли нам удастся куда-нибудь выбраться из Крыма зимой. В Москву нам некуда ехать: Рагозинские остаются в Феодосии, а он призван и ждет места назначения. Да маме и невозможно будет, вероятно, проехать при нынешних железнодорожных условиях. Так что мы думаем о зимовке в Коктебеле. Если же здесь среди зимы не хватит провизии и топлива, то придется переехать в город, и тогда я, может быть, приеду на короткое время в Москву, оставив маму в Феодосии, если она решительно не воспротивится моему отъезду без нее.

До свиданья. Посылаю одно новое стихотворение.

26 августа. Коктебель.

Милый Яша, мы значит одновременно написали друг другу открытки с совершенно одинаковыми вопросами... Это трогательно, и напоминает мне тот фурункул, который одновременно вскочил у нас обоих в Париже на одной и той же ноге. Из моего письма ты уже знаешь, что я, по всей вероятности, останусь с мамой всю зиму в Коктебеле и только в том случае, если мама на зимние месяцы (январь, февраль) переедет к Александре Михайловне, я попробую съездить в Москву. Вчера

* Пра (от Праматерь) — так называли близкие друзья Елену Оттобальдовну Волошину (мать Максимилиана Волошина).

я снова являлся на пересмотр в воинское присутствие и признан снова окончательно негодным для воинской службы (из-за правой руки).

Мама год от году чувствует себя все хуже: у нее расширение легких — она все время задыхается и чувствует большую слабость, очень постарела за эти годы. А так как у нее не было привычки к болезни, то переносит свою старость туго и непокорно. Оставлять ее теперь одну — жестоко, и мое отсутствие в первую половину войны она переносила очень трудно. Так что я теперь связан в своих передвижениях, но это не противоречит и моим планам и желаниям, так как я готов сидеть в Коктебеле круглый год и в полном одиночестве, так как все время занят. Теперь живопись заняла в моей жизни равносильное с литературой место. Я с прошлой зимы стал выставлять в Мире Искусства и начал продавать, что меня сразу освободило от газетных обязательств, и очень вовремя, так как со времени революции ни одна моя газетная статья не могла быть напечатана по цензурным условиям. Конечно, тут все дело в том, что никогда не мыслю в категориях текущего момента, и это еще допустимо в мирные времена, но является циническим преступлением в острые моменты истории.

Я не печатаюсь: мне же лучше — все это сосредоточится с течением времени в стихи и не расплещется по мимолетным статьям. И теперь такое время, когда молчание является определенной услугой родине.

Но мне очень хочется знать, что с тобой и что ты теперь делаешь? Конечно, погружен с головой в общественные дела? Почему ты остался в Тифлисе? Не случится ли тебе этой осенью попасть в наши края? (Хотя я теперь не представляю себе, как это делается). Очень хотелось бы тебя повидать в Коктебеле.

Крепко тебя обнимаю.

30/8-1917 г. Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна*,
мои военные дела окончились благополучно: я часов пять протолкался, с час переживал сто голых тел как "плоть едину" в тесном предбаннике и затем был снова признан совершенно негодным к воинской службе. Володя в это время приходил меня навещать и развлекать. Сам он ждет... и в предсмертные часы накинудся на живопись, не отрываясь, пишет натюрморты акварелью и выходит очень хорошо и явно Вашей школы, вероятно, с тех пор как Вы ему нат/юр/-морт сами поставили. Уезжая, я ему соорудил тоже — сложнейший из драпировок. С тех пор не имею о нем сведений.

Суламифь была... сперва она попросила стихов. Когда я прочел: "... коснись единый раз на миг единый — устами уст..." она задумчиво сказала: "Я не люблю, чтобы меня целовали... в губы. Но я люблю, чтобы меня ласкали..." На следующий день она исчезла: уехала в Кизильтан и там провалилась в колодец, довольно глубокий, но благополучно: ее монахи вытягивали в ведре с водой, потом она переодевалась в келье у схимника и вернулась ошеломленная и радостная, но с ужасом, не окрестили ли ее монахи, воспользовавшись ее трудным положением, пока она сидела внизу в воде. После я ее приспособил для позирования, и она, страдая нарциссизмом, проделывала это очень добросовестно. Я сделал с нее ряд набросков: у нее фигура прекрасная. Вообще она оказалась очень милой девушкой, но очень козой. Теперь она уехала. Рза Волга тоже приходит рисоваться: словом, я использовал весь "гарем" Владислава Фелициановича.

Все разъезжаются, но на их место являются какие-то новые и чуждые люди, в стиле тех трех подозрительных жильцов рядом. Вчера пришел ко мне франтовато-наглый прапорщик:

"Па-азвольте мне Вас побеспокоить... я, собственно, не к Вам... я Максима Горького ищу... он не у вас? Максим... как его по батюшке-то? Алексей Максимович! Да еще Пешков!.. Что же он такой фортель выкинул? Это значит он по отцу

*Юлия Леонидовна Оболенская — художница, постоянная корреспондентка М. Волошина.

только себя Максимом зовет? Я думал, это только актеры так. А еще писатель... Мы, видите, хотим поставить в Феодосии его "Дно"... очень я этот роман его люблю. Мой отец тоже актер был... Но я и с Вами, собственно, побеседовать хотел... Я, видите ли, кокаинист. Так Вы, может быть, уговорите меня того... что это вредно... очень нуждаюсь в совете. Внушите, что ли? Вы знаете, ведь Вы, наверное, после про меня напишите. Впрочем, вы-то не знаю, а Максим — тот напишет, ему только на меня посмотреть. А это ваша матушка меня внизу встретила?... Здорово, знаете... и ведь совсем почтенная особа к тому же..."

Горький живет здесь, не помню при Вас ли он приехал? О политике не разговаривает, а все больше о зверях: где какие бывают. "Вот в Южной Америке тапиры живут... Осьминога раз мы на Капри с Шаляпиным вином напоили. Охмелел... помер после... В Нижнем старая собака была — Никитич, так она раз во время солнечного затмения так тосковала... так тосковала... А у нашего хроникера сестра — Сиамской королевой стала. Курсисткой она в Петербурге с принцем Сиамским познакомилась, так в пятнадцатом поколении... а в Сиаме там трон за это время пятнадцать раз перевернулся, он и стал королем, а она тем временем за него замуж вышла... Теперь вон Германии войну объявила..."

Нормальные дачники возмущаются Горьким: надо сделать постановление, чтобы всех этих большевиков из Коктебеля изгнать и запретить им здесь жить. Дейша определенно называет трех местных коктебельских главарей: Александр Стамов, Максим Горький и Волошин... Вообще у нее снова поднимается волна против меня. Она говорит, что "готовит против меня молот — как он только полезет ко мне на дачу грабить, так я его и пристукну". Вот она моя гибель от руки женщины...

Все понемногу сходят с ума. Очень беспокоино. Корниловская история дошла к нам только в Феодосийских телеграммах, а сегодня нет газет и не будет... Может, мы уже живем под новым правительством...

Обнимаю Константина Васильевича, привет Екатерине Ивановне и Парису.

Максимилиан Волошин

А.М. ПЕТРОВОЙ

Коктебель. 4/9-1917.

Дорогая Александра Михайловна, оттаял себе хлебным ножом конец пальца, потому не мог писать и на машинке эти дни. Вашу открытку получил. Да, астма индивидуальна и очень неуловима. Акация, между прочим, у меня была с собой на всякий случай, но где же было ее применить ночью в управлении порта, когда даже электричество не горело и свеч не было. Не заставляй же в три часа ночи самовар ставить и будить народ для этого. Вот в этом-то неудобство акации: астма случается всегда ночью, когда ночуешь в незнакомом месте и только после того, как ляжешь спать. Где же тут заваривать акацию? А дома она ведь не бывает. Поэтому я до сих пор еще не имел ни разу случая проверить действие акации. А я ее этой весной нарочно набрал и засушил. Курево Ваше здесь не при чем: оно тоже вызывает астму, но в гораздо более накуренных помещениях: тут дело, увы!, в чем-то гораздо более тонком — в собственной атмосфере отдельных комнат: если бы я ушел от Вас в другое место, то все бы сейчас миновало, но беда оказалась в том, что управление порта, в котором комнаты громадные, новые, проветренные тоже оказались астмоносным: это я почувствовал сразу, придя туда, и пришлось всю ночь сидеть на балконе.

Но довольно об этом: мне просто необходимо найти себе в Феодосии новое место ночлега, потому что теперь мне закрыты ночевки и у Вас, и у Новинского.

У меня образовалось как-то вдруг притупление впечатлительности по отношению к текущим событиям, коалицион-

ный кабинет совсем перестал интересовать. Скучная и никому не нужная канитель... Типичное политическое настроение старого режима: дошли. Нельзя безнаказанно жить только текущим.

Мне хочется перевести Вам кусочек из Леона Блуа:

"Если бы по божественному соизволению мы смогли увидеть человеческую душу такой, как она есть, то мы погибли бы в то же мгновение, как если бы были брошены в пылающий горн вулкана. Да! Первая попавшаяся душа — душа швейцара, душа судебного пристава испепелила бы нас. Чудовищно подумать, но вот несчастный писарь, лет восемнадцати, который до самой своей смерти будет царапать глупейшие канцелярские отношения, беспросветно тупея год от года, и что душа его куплена жизнью Сына Божьего! А! какое непостижимое, какое скорбное племя божье! Вечная и всемирная вереница, поток факелов более раскаленных, чем звезды и не сознающих самих себя! Сириус, Алтаирс, Альцебаран и та ужасающая звезда Геркулеса, на которую падает наше солнце со скоростью многих тысяч миль в секунду... такие же звезды, только покрытые мраком, но несомненные, потому что они стоили всей крови Иисуса Христа! Пылающие горны, огромные, как миры, но невидимые и не сознающие себя горнами..."

Самая мысль издавна близкая... Но как она почувствована. Так Блуа всегда: дышит пламенем, как дракон... принявший католичество.

До свиданья.

9 сентября 1917 г. Коктебель.

Дорогая Марья Самойловна, сегодня получилось твое письмо, и я спешу тотчас же на него ответить, чтобы его передал тебе Роман Самойлович, который, кажется, едет завтра: он со дня на день откладывает свой отъезд к моему большому удовольствию, так как он пленен Коктебелем и не может с ним расстаться. Кроме того, он так

напоминает тебя лицом, а Михаила Осиповича лбом, волосами и часто голосом, что часто дает мне иллюзию присутствия вас обоих. Сверх всего, и сам он мне очень нравится. Он пришел в такой восторг от Коктебеля, что решил, что вам необходимо жить здесь и сделаться здешними помещиками, и присмотрел подходящую землю. Он будет об этом говорить сейчас же по приезде, так что я писать об этом не буду, но я всецело присоединяюсь к его письмам и, конечно, всеми силами буду волиять, чтобы ты купила этот кусок земли и связала себя с Коктебелем.

Посылаю тебе несколько коктебельских акварелей, чтобы прельстить тебя. Кроме того, я посылаю с Романом Самойловичем и мои акварели для выставок: пусть они будут пока у тебя, а я напишу Юлии Леонидовне Оболенской (она мой большой друг и очень талантливая художница — я говорил тебе о ней еще в Париже), чтобы она зашла за ними, и это даст Вам случай познакомиться. Мне очень хочется, чтобы ты узнала ее и ее искусство. У нее совершенно необычайные по глубине и по чувству иллюстрации к русским сказкам.

Кроме того, мама с приветом тебе посылает образцы коктебельских камушков, чтобы ты заранее оценила Коктебель и почувствовала к нему влечение. Роман Самойлович через час уже выезжает. Я вчера не успел окончить это письмо и не успею дописать его сегодня. Посылаю его так, как оно есть, и буду сейчас же продолжать его после его отъезда для того, чтобы подробнее и художественно описать тебе ту землю, что мы выбрали для тебя. Этот кусок действительно очень живописен и великолепен для хорошего дома, защищенного от ветра, вдали от моря и с великолепным видом на него, и без неудобных и неудобных соседей. Я напишу тебе о нем подробнее и нарисую его тебе, чтобы дать о нем полное представление. Не могу тебе сказать, как я был бы счастлив, если бы наши планы тобой были бы одобрены и осуществились. Иметь Мишу и тебя постоянными соседями в Коктебеле и географически связать жизнь, это было бы прекрасно: не говоря уже о том, что мне страстно хотелось бы, чтобы ты полюбила Коктебель, и для меня Коктебель еще обогатился, если бы ты

его избрала точкой летней жизни в России. Р/оман/ С/амойлович/ опишет тебе под своим первым впечатлением какой он, хотя он за это время, конечно, успел увидеть только малую часть его красоты: я двадцать пять лет уже живу здесь и не могу ни пресытиться, ни узнать его до конца.

Я думаю, что мой приезд в Москву состоится в январе месяце, когда мама переедет в Феодосию, а я смогу на месяц, на полтора приехать в Москву.

До свиданья. Крепко обнимаю Мишу.

МАХ

М.С. ЦЕТЛИН

Коктебель. 21/9-1917 г.

Дорогая Марья Самойловна,

с радостью получил телеграмму от Романа Самойловича о том, что вы решили купить землю в Коктебеле. (...)

Не могу выразить своей радости, что ты будешь иметь свой угол в Коктебеле. Много лет назад я ходил на это место и думал, как хорошо и интересно можно построить здесь дом и распланировать сады, создать в малом и скромном нечто вроде поместья Арнгейм Эдгара По. Я очень прошу тебя позволить мне рекомендовать тебе архитектора для твоего будущего дома. Это друг мой и Багаевского, очень талантливый архитектор из компании Весниных (ты, вероятно, слышала об этом кружке архитекторов, которые теперь являются самыми талантливыми в Москве). Его зовут Владимир Александрович Рагозинский. Он один из старых киммерийцев и глубоко любит Коктебель: он один сумеет создать такой дом и так расположить все, что это органически свяжется с местностью: а место очень ответственное. Ты, вероятно, уже знаешь по рассказам Ром(ана) Сам(ойловича), что это длинная полоса земли, примыкающая вплотную к двухвершинному холму, замыкающему приморскую равнину Коктебеля. По-

татарски этот холм называется Экимчек (что значит — женская грудь). С Востока он, когда один холм заслоняет другой, напоминает на закате две пирамиды. Ты, может быть, помнишь его по одной из картин Богаевского, где как раз над Экимчеком висит расплесканное и колющее солнце.

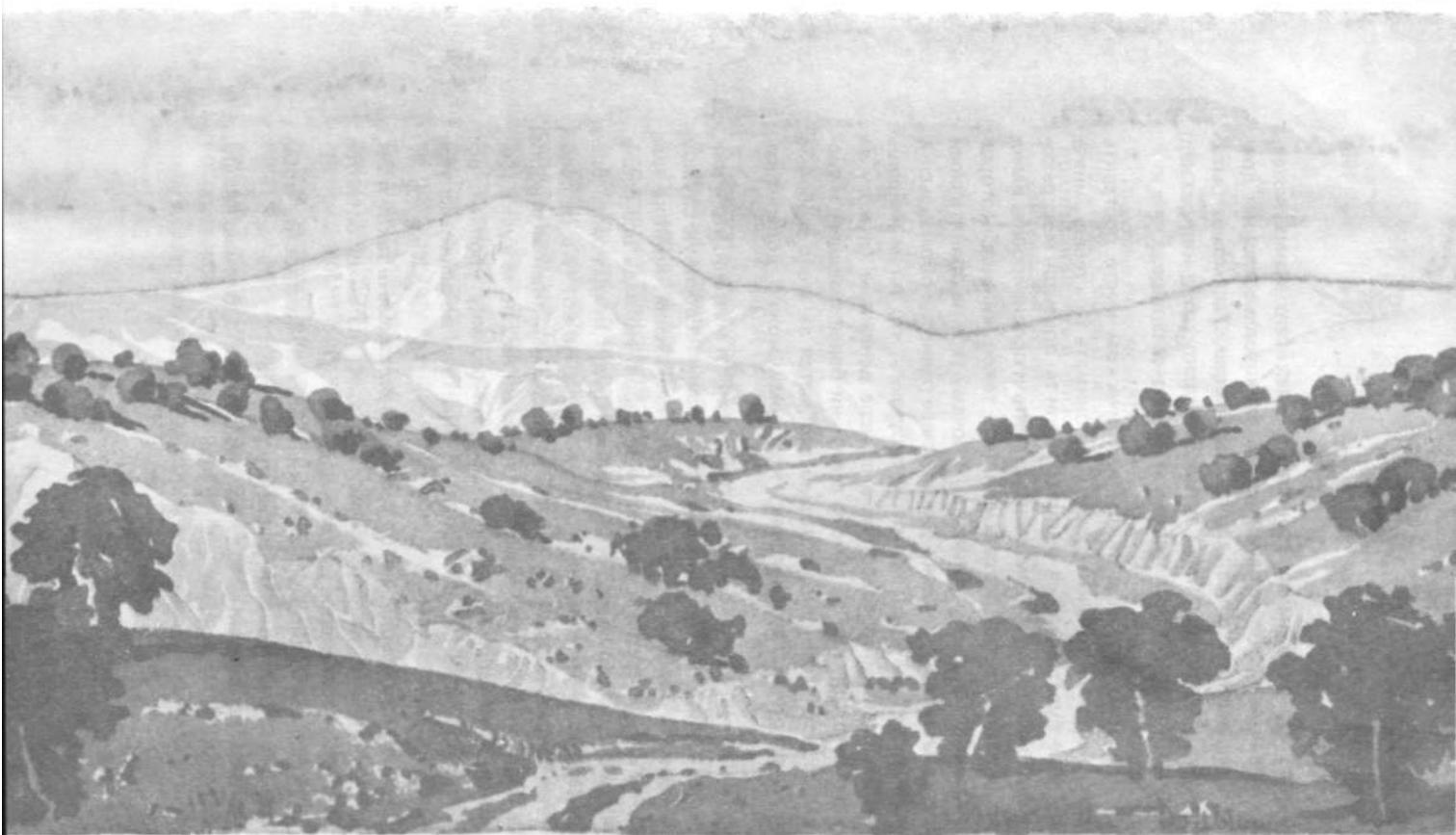
Для того, чтобы в таком патетическом месте поставить дом, необходимо очень любить и понимать Коктебель, иначе одно не будет вязаться с другим. Если ты примешь мою рекомендацию, то мы будем с ним строить и проектировать вместе, и я постараюсь создать для тебя такое жилище, которое тебе не хотелось бы покидать. А почему тебе не принять моей рекомендации, я не вижу резонов: все равно ты обратишься к какому-нибудь архитектору. А я ручаюсь, что ты не найдешь человека ни добросовестнее в смысле денежном (я могу за него ручаться, как за самого себя), ни более знающего и чувствующего местность, который возьмется за это с любовью и с радостью. Это человек, которому можно довериться.

Вчера мы с ним ходили по твоей земле и мечтали, что и как можно здесь построить. Он сейчас призван на военную службу в качестве инженера и ждет своего назначения, но пока еще остается в Феодосии до начала октября. Но ведь все равно никакие постройки до конца войны будут невозможны благодаря цене материалов и рабочих рук. Но вот, что он советует сделать сейчас же: это снять подробный план местности в горизонталях, так как проектировать на таком куске земли можно только видя перед собой разницу уровней, все равно кто бы ни проектировал — этот план во всяком случае необходим.

Поэтому позволь мне от твоего имени заказать такой план, это тем более удобно сейчас, что здесь на зиму остаются несколько инженеров и землемеров.

Прилагаю к письму маленькие рисунки местности, чтобы дать тебе представление о характере места.

Пока до свиданья. Жду от тебя писем. Обнимаю Мишу.



*Молчали в предвечернем покое
Дорога, холмы и кусты.*



*Тяжелый шрифт земли и ленты облаков
Глубоко врезаны, как на цветной гравюре.*

20 октября 1917. Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна, спасибо за то, что так хорошо и полно написали о своей встрече с Маргаритой и о последовательных впечатлениях, именно это мне и хотелось знать о Вашем знакомстве. Есть творческие встречи и мне кажется, что таким должно стать Ваше знакомство с Маргаритой. Очень ясно вижу, что Вы можете дать ей необходимое и что она Вам даст.

Я со многим согласен из того, что Вы пишете об моих акварелях и об их нежности, и об их сладости, хотя это намеренно — такая полоса была, но Вы с неверного угла посмотрели на стихи: они вовсе не заглавия акварелей. Представьте себе, что Вы идете с раннего утра и до поздней ночи по тропинкам, погруженная в свои мысли и в созерцание и иногда в Вас возникает стих или строфа: она не вполне соответствует тому, на что Вы смотрите, но она связана с общим настроением пейзажа. Их сочетание не параллельно, а иррационально. Возникающий стих вовсе не описывает видимый пейзаж, но загорается от него. Я думал, что эта сторона достаточно ясно подчеркнута заглавием цикла: "Десять лирических пауз одной прогулки", а также призрачностью и прозрачностью пейзажей, видимых сквозь успокоенную лирическую влагу мыслей. Здесь главное стих, акварель служит только музыкальным аккомпанементом. Попробуйте просмотреть их с этой точки зрения и не все сразу, а по очереди, одну прикрывая другой. Я не знаю, удалось ли мне это, но хотелось сделать так. Мне кажется, что это одна из возможностей сочетания слова с рисунком. Я очень против параллелизма искусства. Так же я думаю и об иллюстрации: она должна не повторять текст иллюстрируемого рассказа, а продолжать, дополнять его. Надо искать симфонического и не унисонного сочетания. Здесь, конечно, есть масса разных возможностей, и исходная точка их должна лежать уже не в лике, а в психологическом моменте зрителя, который должен быть достаточно ясно направлен общим заглавием цикла. В данном случае я определенно рассчитываю на другую привычку выставочного зрите-

ля, который раньше смотрит в каталог, чем на картину. А слова, возникающие от пейзажа, естественно, гораздо шире самого пейзажа. Так всегда бывает при возникновении стихов.

Наши зимние планы все еще в неопределенном состоянии, благодаря Кедровым, которые собрались зимовать с нами, но все еще не могу до конца выявить своего положения. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы они остались, так как я люблю и их, и их детей. Но если они останутся, то мама не поедет в Феодосию к Александре Михайловне на январь-февраль, и следовательно, не пустит меня в Москву. Вообще ей очень не хочется, чтобы я уезжал от нее. Но все идет к тому, что Кедровы не останутся и я, вероятно, приеду. Мама чувствует себя с наступлением осени хорошо, но вместе с тем в ней проснулся темперамент и она стала безумно раздражительна из-за каждого пустяка. Так что психологически опять приходится туго.

В Феодосии погромы, пьянство, разбивают погреба... До нас еще пока не дошло, хотя рано или поздно, конечно, дойдет. Ведь в Коктебеле тоже есть винные погреба. Но к этим возможностям мы относимся спокойно: от судьбы не уйдешь. Хотя я вполне готов и к разрушению дома и к сожжению библиотеки.

Тогда уже поневоле придется ехать в Москву.

До свиданья, напишите побольше о себе.

(...)

МАХ

Коктебель. 27 октября 1917 г.

Дорогая Александра Михайловна,* все эти дни был у меня Эренбург, и Вы не можете себе представить, как мне досадно, что Вы лишили меня возможности познакомить его с Вами. Досадно, конечно, за Вас, потому что этим Вы лишились не только знакомства с прекрасным и та-

* Александра Михайловна Петрова — близкий друг семьи Волошиных. В ее доме, в Феодосии, часто бывал М. Волошин.

лантливым человеком, но и беседы с очевидцем Корниловского выступления, который Вам мог бы дать из первых рук сведения и впечатления о разных лицах, которые остаются для нас здесь туманными и маловыясненными. Глубоко обидно за Вас потому, что именно для Вас было особенно ценно и важно слышать все, что он рассказывал. Теории и расовые антипатии это вещь преходящая и изменчивая, а человек есть ценность вечная и существующая сама в себе.

Мне хочется все же рассказать Вам кое-что о Савинкове (Эренбург с ним очень дружен). Савинков относился к Корнилову с большим уважением и любовью, но считает его человеком политически неумным, которым воспользовались, как силой, скрытые контрреволюционные течения. Сперва они друг друга долго осматривали и пытали. Когда еще Савинков был комиссаром, а Корнилов командующим 7-ой армией, Корнилов сказал ему однажды неожиданно: "Борис Викторович, а что если я Вас повешу". — "Я постараюсь Вас предупредить, Лавр Георгиевич". На следующий день Корнилов сказал ему: "Знаете, Борис Викторович, я со вчерашнего дня начал уважать Вас". Потом между ними возникла настоящая дружба. Но Савинков, человек, обладающий высшей степенью холодного мужества, говорит, что ему иногда в присутствии Корнилова бывает жутко. И ставши во главе министерства, он имел всегда около Корнилова человека, который должен был его убить в случае измены.

Керенский Савинкова боялся, но цеплялся за него. После того как Савинков/ и Корнилов/ вырвали у Керенского согласие на восстановление смертной казни, и проект закона был на следующий день составлен Савинковым/, Керенский стал прятаться от него, как ребенок. Наконец, через неделю Савинков/ поймал его в пустой комнате, запер двери на ключ и сказал: "Александр Федорович, если бы на Вашем месте был другой, я бы его застрелил, но Вас я умоляю подписать этот закон" и не отпустил его, пока закон не был подписан. Отставку он получил от Керенского/ по телефону в таких выражениях: "Борис/ В/икторович/, я назначил военным министром Верховского, что Вы об этом думаете?" — "Что даже

при старом режиме отставка министра не совершалась подобным образом..." и повесил трубку. На следующий день они встретились, и Б/орис/ В/икторович/ сказал Керенскому/: А/лександр/ Ф/едорович/, я Вас раньше любил и уважал, а теперь не люблю и не уважаю". Керенский/ в ответ закрыл лицо руками и расплакался. Керенский производит впечатление человека сошедшего с ума. Свои силы он поддерживает только морфием, который принимает в громадном количестве. Для него подписать смертный приговор является актом, действительно, невыносимым. Он глубоко искренен, но у него слишком много того, что Савинков называет с пренебрежением "очередным и неотложным празднословием".

Благодаря морфию, безумию и власти у него начинаются Павловские замашки вроде разных прозвищ, которые он дает окружающим. Так он вдруг вздумал почему-то звать Савинкова/ "Тимошей", так что тот должен был оборвать его. А другого старого террориста, так же мало располагающего к шуткам и фамильярности — Моисеенко — назвал "Белокрысенко".

Вместе с тем трагизм его положения в том, что он не может уйти, и никто не отпустит его. При Эренбурге он кричал в Корниловские дни по телефону: "Убери от меня этих юнкеров (стоявших на часах), чего они на меня так смотрят? Я их боюсь..."

Спасибо, Александра Михайловна, за указания средств от астмы, только я сейчас еще не соберусь в Феодосию, хотя очень хотел бы видеть Костеньку. Может, он найдет возможность приехать в Коктебель?

Покажите ему это письмо: ему, наверное, будет интересно.

(...)

С прислугой у нас пока наладилось с грехом пополам, но лишь временно (теперь мама ищет сторожа с женой).

До свиданья. Пишите мне, по крайней мере чаще, если мы не можем видаться.

15 ноября 1917 г. Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна, сегодня пришло Ваше письмо: первое письмо из Москвы, но сведения о событиях и о том, что все знакомые живы, я получил от Марины и Сережи*, которые приехали дня четыре назад. До этого мы были в полной неизвестности о том, что происходит, так как газет не было три недели, а вести и слухи были так смутны, что понять ничего нельзя было. Теперь стали приходиться и газеты.

Марина как раз в дни Московского боя была у нас и, ничего не подозревая, уехала в Москву и, пробыв там день, немедленно вернулась с Сережей. Ничего не знаю только о Маргарите. Видали ли Вы ее после беспорядков? Я направил к Вам моего друга поэта Эренбурга, который уехал в Москву тоже перед самым переворотом; вероятно, он был у Вас?

Для меня эта осень проходит бесплодно и очень тяжело не из-за внешних событий, а из-за внутренних состояний. Прабастовала в хозяйстве и поставила меня готовить и прибирать комнаты. Это все было бы ничего, если б не сопровождалось постоянным и непрерывным гневом на меня из-за всего и из-за ничего и не усложнялось бы уже месячным отсутствием прислуги. Чувствую себя совершенно разбитым душевно и не имею сил смотреть на себя иначе, как на самого ленивого и глупого из кухонных мужиков. Не могу ни писать, ни рисовать, ни сосредоточиться на совершающемся в России, как следует.

Впрочем, читаю Тэна. Если у Вас есть, раскройте последние главы "Якобинского Захвата", где идет речь об августе 1792 года. Это как раз тот же момент, что переживаем мы сейчас: захват силою оружия и власти крайними партиями. Аналогии потрясающие, несмотря на то, что лозунги диаметрально противоположны: там идет дело о войне, а не о мире и об единстве, а не о расчленении государства. Но психология действующих лиц, характер событий — все совершенно тождественно. Эти исторические параллели говорят, что нет ника-

* Имеются в виду Марина Цветаева и ее муж Сергей Эфрон.

ких данных, чтобы большевизм, как принято теперь утешаться, изжил сам себя в очень короткий срок. Если он не будет сметен внешними военными событиями, то у него все данные укрепиться посредством террора на долгое время. Вообще теперь дело за террором, которому, вероятно, будет предшествовать большой, организованный правительственными кругами погром (сентябрьские дни).

То, что Вы пишете о Вашем костромском этюде и о стихах Кузмина, поразительно. Я думаю, что именно так и должно быть. Но, если такое случается, то разумеется, это не надо ни подчеркивать, ни выявлять. Ведь мое задание было гораздо более поверхностно: оно было японского характера (как 36 видов горы Фузи) не больше. И моя ошибка, я вижу, главным образом, в непропорциональности. Охотно соглашаюсь, что мне это не удалось.

Видала ли Маргарита мои рисунки? Мне очень хотелось бы, чтобы Вы ей показали и написали, как она отнесется. Она мне давно уже ничего не пишет.

Относительно теософии. Вы знаете, что я с Вами совершенно согласен, оно, это "досадное малокровие", это "парение в пространстве на одном месте", которое не переходит в полет, как Вы очень верно говорите, — это лежит не в самой теософии, а в том, как она воспринимается: теософское поучение дает отвлеченный остов понятий, а его надо принять в душу как зерно, вырастить в себе, собою его одеть. Сделать его кинетическим. Полет в самом человеке. А его наоборот стараются задержать таким, как оно есть, и бояться что-нибудь прибавить от себя.

Это вина организации "Общества". Вообще самое понятие и весь распорядок "общества" чужд русскому складу души и вся их наставительная литература приспособлена к иному пониманию. Религия дает живой творческий символ, немедленно распускающийся в душе: теософия же — отвлеченную истину, лишенную плоти. Это имеет громадное значение, так как заставляет душу совершить дело ее воплощения внутри самой себя.

(...)

До свиданья. Привет К/онстантину/ В/асильевичу/, К/атерине/ Ив/ановне/, Ф/едору/ К/онстантиновичу/.

Что, по-Вашему, будет теперь с Россией?

Максимилиан Волошин

Предисловие и публикация Э. СОТНИКОВОЙ

Окончание в следующем номере.

ВЫШЛА В СВЕГ И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

КНИГА

ЭДУАРДА ШПЕЙНА

"ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ 1920-1977"

Это библиографический справочник о произведениях
750-ти поэтов русского Зарубежья.

Цена книги в предварительной продаже — \$6.00.
Нормальная цена книги — \$8.00, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:
E. SZTEIN, 7 Miles Ave., Woodbridge, Conn. 06525. U.S.A.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН **"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"**

*АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ДВУХ КНИГАХ*

"ИЛЛЮЗИИ" и "КРУШЕНИЕ"

Автор — журналист и писатель, в прошлом корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты "Труд", заведующий отделом и специальный корреспондент "Литературной газеты" — рассказывает о своем жизненном пути в Советском Союзе, о преодолении им коммунистической идеологии, о нравах, царящих в советской журналистике и литературе.

Автобиографическое повествование **"Покинутая Россия"** удостоено второй премии Иерусалимского Университета.

Стоимость каждой из двух книг в Израиле: в магазине — 36 лир, при одновременной покупке первой и второй книги — 68 лир. При заказе в редакции, соответственно — 29 лир и 56 лир.

Стоимость каждой из двух книг за границей — 3 доллара, при одновременной покупке сразу двух книг — 6 долларов.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62, Тель-Авив, издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

МОСКОВСКИЙ АВАНГАРД,

Или фрагменты из прошлого

Сейчас весь мир знает о московских художниках-нонконформистах. Александр Глезер вывез огромную коллекцию их работ. Теперь они выставляются в Париже, Лондоне, им посвящаются книги и альбомы. Да и сами художники, задыхающиеся в России, потянулись, кто вольно, а кто невольно, на Запад, и образовалась целая колония в Париже, и многие осели в Израиле, и рассеялись по всему миру, но многие остались в России.

За двадцать лет, отделяющие нас от появления первых работ неофициальных художников, многое изменилось. Тогда ничего еще не знали о них иностранцы и не покупали их работ. Еще не началась эмиграция на Запад и в Израиль, и не было того, по сути, единого организма, который объединяет сегодня уехавших и оставшихся, не было живой связи между нами и ими.

А было несколько молодых художников, которые впервые заглянули в большой мир, надежно закрытый железным занавесом, еще до Всемирного фестиваля молодежи летом 1957 года, когда понаехали в Москву иностранцы и в Москве прошла выставка работ, включавшая последние веяния западного искусства. Все удивительно совпало. Наступила "оттепель". И художники начали писать по-новому, начали доставать западные альбомы, следить за всем, что происходит в искусстве, появилась естественная потребность в общении друг с другом, ибо все они были вне официальных рамок советского искусства. Так долгие годы складывалась та среда, которая оказалась много лет спустя способной противостоять бульдозерному натиску.

...В Иерусалиме живет художник Михаил Гробман, вывезший с собой уникальный архив. С несвойственной богемному человеку тщательностью Гробман собирал и хранил письма, стихи, фотографии картин, редкие статьи в печати и все прочие документы о московских неофициальных художниках. Его архив — свидетельство о веселой, мужественной и голодной эпохе.

Первым московским абстракционистом, кажется, был Владимир Слепян, художник и математик. Он начал создавать свои работы уже в конце 1956 года, сначала кистью, а потом... пылесосом. Талантливый,

динамичный, он сразу собрал вокруг себя кружок художников и поклонников, но вскоре, уже в 1958 году, Слепян уехал в Польшу, а затем во Францию. В России состоялись лишь две, едва ли не однодневные выставки его работ — в МГУ и в Институте Капицы.

Во Франции Слепян создал собственное направление — "трансфинитизм". Он выходил на пустынные проселочные дороги с огромным рулоном бумаги, окруженный почитателями и корреспондентами, расстилал рулон на сотни метров, а затем шел вдоль него с красками, работая кистью. Он не знал заранее ни того, что он собирается создать, ни где именно настигнет его вдохновение. Когда вдохновение достигало высшей точки, он останавливался и работал только над данным куском рулона, который потом вырезался и представлял законченную картину. К сожалению, впоследствии по необъяснимым причинам Слепян совершенно оставил живопись.

Владимир Яковлев, один из самых талантливых московских художников, начал с лирических абстрактных работ в 1957 году. С самого начала работы Яковлева характеризуются сложнейшими, трагическими и напряженными сочетаниями цветов. Особенно он любит гуашь и пастель. Чуть позже он начинает писать портреты, как будто набросанные несколькими линиями, но на самом деле совершенные в своем лаконизме. Удивительные его лица всегда погружены в светлую меланхолию и словно излучают нежность.

С 1960 года Яковлев начинает третью серию — цветы. Эти три темы — абстракции, абстрактные пейзажи по преимуществу, лица и цветы — становятся основными в его дальнейшем творчестве.

Гробман рассказывает, что на Яковлева оказали большое влияние работы его деда, импрессиониста Михаила Яковлева.

Владимир Яковлев всегда стоял особняком среди московского авангарда, не входил ни в какие официальные или неофициальные объединения, был всегда погружен в свой собственный мир. Яковлев был первым художником, который жил от продажи своих картин. Его картины вы можете встретить в домах рабочих, у академиков, писателей. Его большими почитателями были, например, Константин Паустовский и Андрей Волконский, для которого он нарисовал серию абстрактных картин на музыку Шенберга. Михаил Гробман вывез несколько стихотворений Яковлева, поэзия которого известна лишь узкому кругу его друзей.

А солнце светило светило светило
Дороги светило и ямы согрело
Кресты позолоты и ямы светило
Кресты позолоты и ямы могилы
Светило светило могилы светило

Я ветку свою уронил в степи!
 А ты мальчиком песни пойдя погуляй
 Я лепестки ромашки взял погулять
 и листья обратного кольца уронил
 Я камнем своим постучался в окно
 А ветер листья с деревьев унес
 Я ветку свою унес

Владимир Пятницкий начал с абстрактной живописи в 1958 году. Учился на Химфаке МГУ, потом получил художественное образование в Текстильном и Полиграфическом институтах. В пору увлечения абстракционизмом Пятницкий часто включал в свои картины инородные элементы — клочья волос, бумажки, железки, но рассматривал их как эстетический материал, оставаясь вне идеологии поп-арта. Вскоре Пятницкий почти полностью переходит на фигуративное искусство. Его мир полон странных людей и видений, пронизан иронией.

Пятницкий был страстным пропагандистом Хлебникова в Москве. У Гробмана хранится сборник Хлебникова, изданный Пятницким в одном экземпляре в качестве дипломной работы в Полиграфическом институте в шестидесятых годах. В сборнике — несколько стихотворений Хлебникова, в том числе "Меня проносят на слонах...".

Каждое стихотворение иллюстрировано Пятницким, на титульном листе значится: "Издательство детской и юридической литературы". Художник собственноручно поставил несколько рисованных абсурдных фильмов.

Пятницкий работает в самой разнообразной технике — масло, эстампы, смешанная техника, рисунки графитом, тушь. Его работы отличаются математически точной перспективой в духе времен Ренессанса. Он прежде всего превосходный рисовальщик.

Эдуард Штейнберг прошел через несколько этапов. Живописи он учился дома, у отца, Аркадия Штейнберга — профессионального художника, поэта, переводчика. В молодости художник был рыбаком, рабочим, много лет жил в Тарусе. Он начал писать с 1959 года и быстро перешел к абстрактному экспрессионизму. К чисто геометрическим работам Эдуард Штейнберг пришел позже, после того как много писал с натуры со все возрастающей степенью ее абстрагирования. В его творчестве чувствуются метафизические искания. Искусство и жизнь всегда нераздельны у художников, и чтобы понять их искусство, стоит проникнуть в их быт и будни.

У Гробмана сохранились письма Штейнберга, великолепно передающие богемную атмосферу, в которой жили нонконформисты 60-х годов.

Вот отрывок из письма Штейнберга Гробману в июне 1963 года.

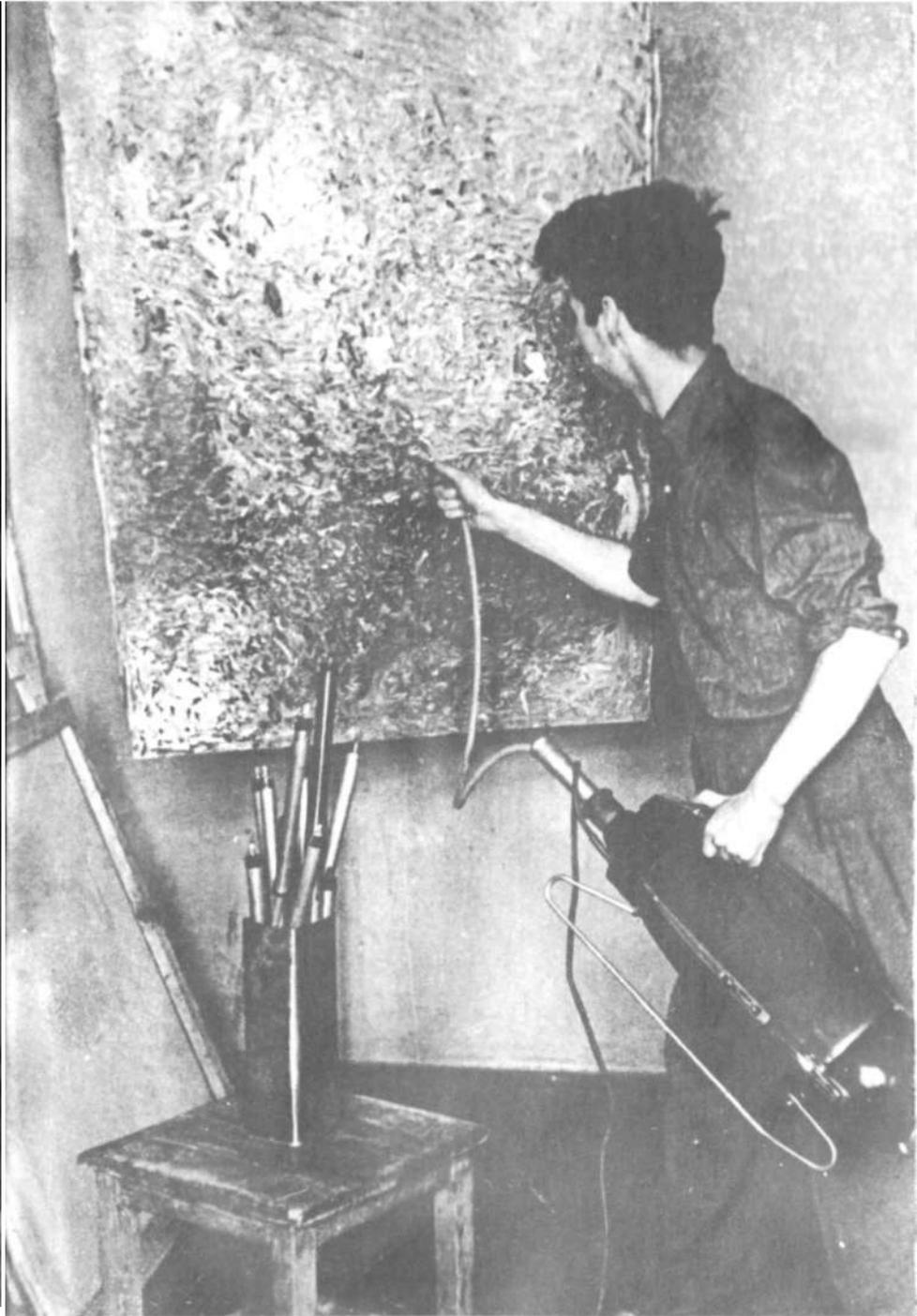
"...Написал две картинки, наз. одна Сказание о граде Китеже, да вторая Вода и девушки, и кучу рисунков, из которых есть некоторые, как мне кажется, удачные. Да, еще, вдруг у Харитонова собрались художники, всех ты, видимо, вместе не видел. Толик Зверев, Саша Харитонов, Дима, Воробей и я, плюс тетя Нюра. Тетя Нюра дала нам прелестную закуску. Ну выпили. Еще надо выпить. Денег нет. Пророки. Такое впечатление у меня сложилось. Я что-то наблюдал за всеми, но знаешь, юродство неподдельное... Кончилось тем, что оценивали работы Саши. Он прелестный художник, знаешь, такая неповторимость. Был я в МОСХе, так нахально пришел просить, денег или еще чего-нибудь. И вот что мне ответили, мол, перевыборы прошли (правда, Тышлера выбрали, и лежит он в больнице, у него инфаркт) и молодежь будет заниматься комитет ВЛКСМ МОСХа. Я, конечно, еще пойду туда, но бесспорно ничего не будет".

И, наконец, несколько слов об Игоре Ворошилове. Он учился на киноведческом факультете ВГИКа и стал известен в начале шестидесятых годов. Игорь Ворошилов — тонкий колорист, лирик, пишет маслом и гуашью. Среди нонконформистов он оказался скорее не из-за "модернистских" устремлений, а по психологической принадлежности к определенному кругу артистической молодежи.

Галина КЕЛЛЕРМАН



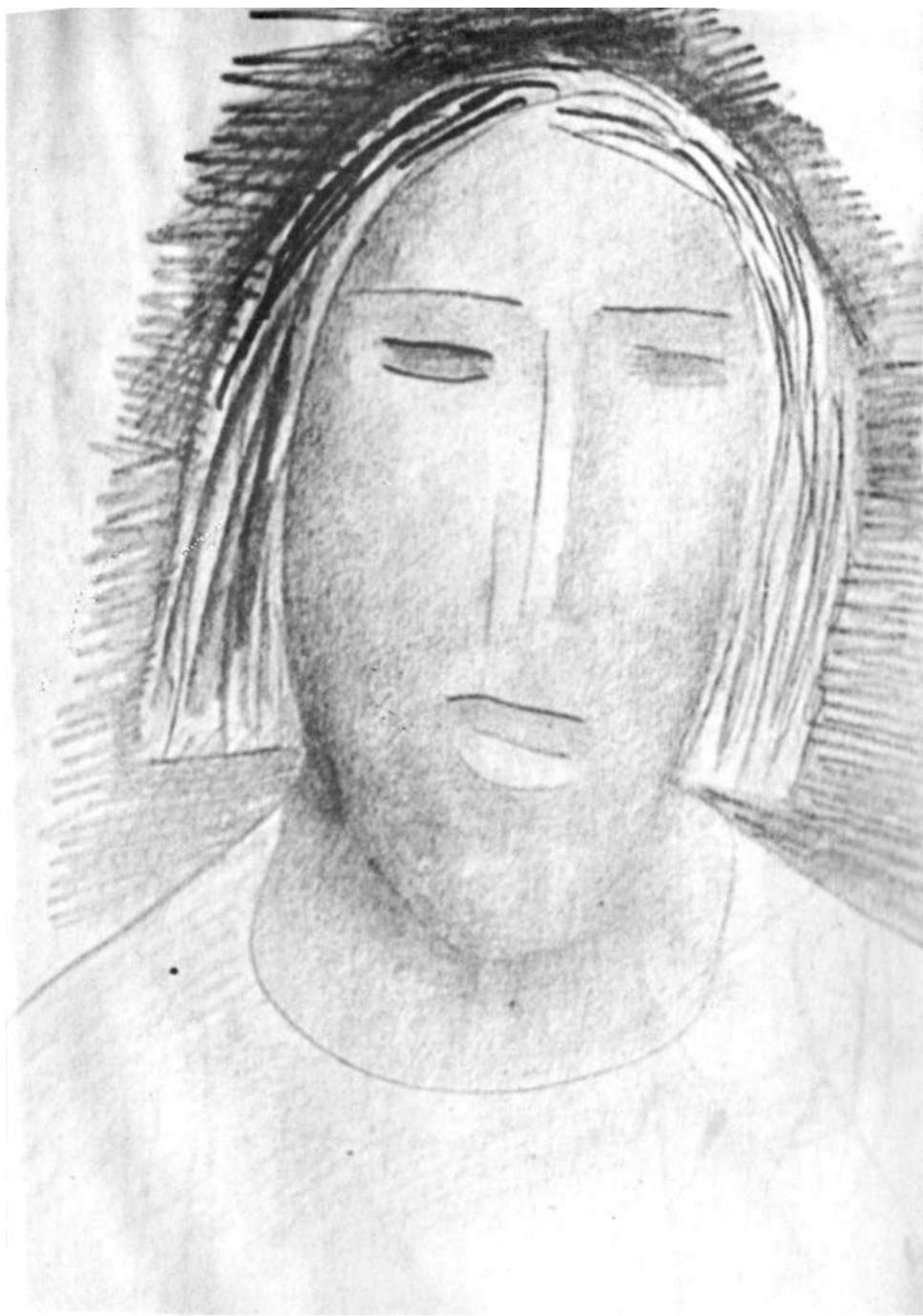
Художник Владимир Яковлев



Владимир Слепян за работой



Владимир Яковлев. "Абстракция"



Владимир Яковлев. Женский портрет



Владимир Пятницкий. "Абстракция" (графит)



Владимир Пятницкий. Женский портрет



Владимир Яковлев. Женский портрет

СБОР СРЕДСТВ НА ПАМЯТНИК ГАЛИЧУ

ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ" И ГАЗЕТЫ "РУССКАЯ МЫСЛЬ" НАЧАЛСЯ СБОР СРЕДСТВ НА ПАМЯТНИК НЕДАВНО УМЕРШЕМУ И ПОХОРОНЕННОМУ В ПАРИЖЕ АЛЕКСАНДРУ ГАЛИЧУ. ЕГО ИМЯ ХОРОШО ЗНАКОМО ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ".

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ — ОДИН ИЗ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ И ЛЮБИМЕЙШИХ ПОЭТОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, БОЛЬШОЙ ДРУГ ИЗРАИЛЯ, ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ШИРОКОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. В ЖУРНАЛЕ "ВРЕМЯ И МЫ" БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА НАПИСАННАЯ ИМ НЕЗАДОЛГО ДО СМЕРТИ ПОВЕСТЬ "БЛОШИНЫЙ РЫНОК".

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ" ПРИЗЫВАЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ В ИЗРАИЛЕ И ЗА РУБЕЖОМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПАМЯТНИК ГАЛИЧУ. ПОСИЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ КАЖДОГО ИЗ НАС ЯВИТСЯ ДАНЫЮ УВАЖЕНИЯ К ПАМЯТИ ПОЭТА, КОТОРОГО МЫ ВСЕ ТАК ЛЮБИЛИ.

Взносы можно направлять по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив, "Время и мы" ("Комитет по сбору средств на памятник Галичу", в составе: М. Агурский, Г. Келлерман, В. Перельман, Э. Сотникова).

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДАВИД ДАР. Писатель. Родился в 1910 году в Петрограде. В двадцатых годах учился в техникуме печати, откуда был исключен за доклад о Заболоцком. Много лет работал журналистом, объездил весь Советский Союз, воевал на Ленинградском фронте, был разведчиком. Руководил литературным объединением в Ленинграде, воспитал целое поколение прозаиков и поэтов, многие из которых сейчас хорошо известны на Западе. Двадцать девять лет состоял в Союзе советских писателей, выпустил несколько книг. Публично выступал в защиту Пастернака, Бродского, Солженицына. В 1977 году в открытом письме Союзу писателей и в "Литературную газету" заявил о своем выходе из Союза писателей. В этом же году выехал в Израиль.

ЛЕОНИД ИОФФЕ. См. журнал № 8.

НАФТАЛИ ПРАТ. См. журнал № 18.

ДОРА ШТУРМАН. Филолог и историк. Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно продолжала заниматься исследованиями ряда фундаментальных проблем советского строя. В настоящее время работает в Иерусалимском Университете. Публикуемая статья представляет собой главу из книги "Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат" (циркулирует в Самиздате с начала семидесятых годов под псевдонимом В.Е. Богдан). В Израиле — с начала 1977 года.

ЕЛИЗАВЕТА МНАЦАКАНОВА. Художница и поэтесса. Родилась в 1923 году. Сотрудничала во многих издательствах и литературных журналах Москвы. Наиболее известные ее произведения "У смерти в гостях", "Книга видений", "Осень в Лазарете Невинных Сестер" — Реквием, "Книга детства", "Времена года", "Ночь, как ночь". Е. Мнацканова — один из ведущих авторов альманаха "Аполлон". В настоящее время живет в Австрии.

МИХАИЛ ДЕМИН. Писатель. Родился в 1926 году. Окончил школу, а затем художественное училище. Десять лет находился в заключении, причем большую часть этого срока — на Колыме и в Норильске. В 1964 году Михаил Демин окончил двухгодичные высшие литературные курсы. С 1968 года живет в Париже. На Западе опубликовал три книги о жизни уголовного мира в России, которые переведены на многие языки.

ДИМИТРИЙ ПАНИН "МИР-МАЯТНИК"

Русский философ и инженер, Д. Панин, после 16 лет пребывания в советских тюрьмах и лагерях Опубликовал на Западе "Записки Сологодина", "Вселенная глазами современного человека", "Солженицын и действительность". Автор книги "Мир-маятник" призывает людей доброй воли всех стран земного шара не дать остановиться развитию человечества, приближающемуся к конечной точке размаха маятника. Конструктивные решения опираются на законы природы, данные науки и положения, проверенные жизнью.

Цена книги в Израиле — 32 лиры, в США и Канаде — 6 \$ во Франции — 32 F. FR, в Германии — 16 DM
Заказы с приложением чека направлять по адресу:
A.D.P. B.P. 79. 75762 Paris Cedex 16, France

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily - Established 1910

243 WEST 56th STREET
NEWYORK, N. Y. 10019

М. Г. _____ Tel. COlumbus 5-S5(X)

Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; в мес — \$25.00; 3 мес. — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; в месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой
в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; 6 месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.

"ВРЕМЯ и МЫ" 1978 год.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 210 лир

на 12 месяцев - 384 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)

на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)

Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)

на 12 месяцев — 184 (авиапочта — 310)

Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)

на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)

Цена номера в открытой продаже — DM — 11

бланк для ПОДПИСКИ на 1978 год на обороте

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высыпать с номера

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel-Aviv или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**
Журнал высыпать с номера

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel** или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**



ИНОСТРАНЦЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ИЗРАИЛЕ, ТУРИСТЫ, НОВЫЕ ИММИГРАНТЫ, ИЗРАИЛЬТЯНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ!

Если вы хотите наилучшим образом воспользоваться своими деньгами, то открывайте счет на свободно конвертируемую валюту в Банке Дисконт.

Вы получите следующие преимущества:

Свой вклад вы сможете свободно переводить куда угодно и в любое время.

Ваш вклад не будет облагаться внутренним налогом государства Израиль.

Не проживающие в Израиле иностранцы освобождаются от налогов, связанных с содержанием недвижимости.

Хотите сэкономить свое время? Тогда вырежьте, подробно заполните и вышлите нам помещенный внизу купон. Вы можете производить все свои банковские операции также и по почте.

Интересно, не правда ли?

ISRAEL DISCOUNT BANK LTD.
Main Foreign Exchange Branch
25A, Lilienblum Street
TEL AVIV

Please send me:

- Information on Individual Joint Free foreign Currency accounts and Banking by Mail service.
 Your quarterly publication: BUSINESS REVIEW AND ECONOMIC NEWS FROM ISRAEL.
 Your booklet: TRAVELLING TIPS FOR TOURISTS IN ISRAEL.

Name

Address

Status: Foreign Resident or Tourist New Immigrant or Temporary Resident Israeli residing abroad

 **ISRAEL DISCOUNT BANK**



Зав. редакцией и корректор Марина Голубева
Художественный редактор Эфраим Алелов
Художник Лев Ларский

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки:Игорь Ворошилов
"Автопортрет".

